

ФЕЛИКС КОН

СОРОК ЛЕТ
ПОД ЗНАМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИИ

(ВОСПОМИНАНИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

СОРОК ЛЕТ

ПОД ЗНАМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИИ

(ВОСПОМИНАНИЯ)

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ПЕТРОГРАД**



Маньковский

„ПРОЛЕТАРИАТЪ“:

Лури.

Рехневский.

Кон.

Дулемба.

Гиз. № 5178.

Гублит № 1611

Заказ № 1702.

Рязань. Гостиполиграфія.

Тираж 8,000 экз.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Партия „Пролетариат“ и ее время.

1.

Русская молодежь никогда не переживала того душевного вадлома и перелома, такой приходилось переживать большинству польской молодежи в момент вступления в ряды борющихся за освобождение пролетариата...

В России чувство неудовлетворенности и недовольства толкало молодежь на борьбу с самодержавием... У нее не было выбора. Лагерь борьбы был только один. В Польше в течение целого столетия недовольные элементы шли по проторешной отцами и дедями повстанческой дороге. В этом отношении, несмотря на реакцию в польском обществе после восстания 1863 года, несмотря на явный уклон в сторону примиренчества и непользования «возможностей» промышленного завоевания России, традиции были сильны. На страже этих традиций стояли женщины—«матери-польки», о которых польский поэт Викентий Польш говорит:

Еще они выкормят в тишине
Ряды боевой молодежи,
От них дети узнают о нас
И, как мы, уверуют в свободу...

И в действительности, польские матери свито исполнили эту миссию. Уже сидя в Варшавской Цитадели, мы, собирая данные о заключенных, в число других вопросов включили вопрос о предках, принимавших участие в восстаниях. Картина получилась замечательно красочная. Отцы, деды и даже матери большинства заклю-

ченных были замешаны в восстаниях, а одна из обитательниц 10-го лавильона Варшавской Цитадели в 1885 г.—Мария Богусевич—оказалась, по матери, внучкой Тадеуша Костюшки...

Огнем и мечом, виселицами и каторгой усмирля царская Россия «бунтовщическую» Польшу, кровавый порядок был восстановлен не только в Варшаве, но и во всей Польше. Привезавшие из России победители-самодержцы «слез не видали,—но выразителью Словацкого,—видали лишь дома, расцвеченные коврами». Но то, что делалось внутри этих домов, было скрыто от этих глаз... А там именно росла и крепла новая, молодая Польша. Росли дети, которые раньше выучивались патристическим гимнам, чем молитве. Росла молодежь, для которой контрабандой привезенный из Галиции портрет Костюшки был большей святыней, чем иконы и даже Распятие.

И получался страшный контраст...

Дома культивировались традиции, священные традиции борьбы. вне дома—вся жизнь шла в разрез с этими традициями. Поляк—«патриот» в своем домашнем очаге—служил «верой и правдой» в качестве чиновника русского самодержавия, употреблявшего все средства, чтобы превратить Польшу в «Привислинский край»: поляк—«патриот», купец на варшавском рынке, побивал в конкурентной борьбе лодзинские товары... московскими и т. д. и т. д.

И это противоречие между культом и жизнью, между словами и делом не могло не бросаться в глаза подрастающему поколению, но могло не ставить перед ним вопросов, совершенно незнакомых прежним поколениям.

Лично предо мной этот вопрос возник, когда я еще был в четвертом классе гимназии. То было в памятный для польской молодежи 1877—1878 г. Тогда почти одновременно были арестованы Адам Шиманский вместе с целым кружком патриотов и первые польские социалисты: Мечислав Бржезинский, Дашилович, Вацлав Серопшевский, Максимилиан Гейльцери, Станислав Лянды и мн. другие... В числе этих других была и моя старшая сестра Елена. Почему она стала в ряды социалистов, а не патриотов,—это в то время было для меня и непонятно, и непостижимо. За разъяснением этого вопроса мне не к кому было обратиться: она была в тюрьме; мать, горячая патриотка, никогда ничего общего не имевшая с социалистическим движением, «за содействие сокрытию следов преступления, попустительство и укрывательство» была равным образом арестована... Правда, у меня было много гимнази-

стов-товарищей, были и друзья, с которыми я собирался в будущем составлять повстанческие отряды, но в этом вопросе я был совершенно одинок: не с кем было поделиться своими недоумениями, не с кем было посоветоваться. Я бился, в буквальном смысле слова, как рыба об лед... Я чувствовал, что у меня что-то отнято безвозвратно, что я на каком-то распутии... Именно чувствовал. Мне было тогда всего 14 лет. О сознании не могло, конечно, быть и речи.

В это время в 10-м павильоне Цитадели произошло событие, сыгравшее в моей жизни немаловажную роль.

Часовой застрелил одного из заключенных—рабочего-социалиста Иосифа Бейте, 18-летнего юношу, за разговоры с товарищами.

В то время такие убийства еще не были в порядке вещей. Возмущенные товарищи Бейте реагировали на это убийство бурным протестом. Двое из них, известный впоследствии писатель Вацлав Серошевский и не менее известный общественный деятель Станислав Ляпды, были за этот «бунт» привлечены к ответственности по обвинению «в вооруженном сопротивлении властям», преданы военному суду и приговорены к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в отдаленнейшие места Восточной Сибири, а жертва этого гнусного убийства—Иосиф Бейте—был похоронен под самой оградой Повонзковского кладбища, в той части, где хоронят нищих, бездомных и самоубийц...

Я часто посещал его могилу и целые часы просиживал над ней, как бы в ней иска ответа на мучивший меня вопрос... Иной раз, на обратном пути домой, я сворачивал на главную аллею кладбища и останавливался перед огороженным решеткой и залитым асфальтом местом, без всякого памятника, без таблицы, без надписи... То была могила «пяти погибших»—первых пяти жертв восстания, павших на улицах Варшавы... Струсивший тогда не на шутку кп. Горчаков вынужден был дать разрешение на торжественные похороны этих жертв, и им была отведена братская могила в лучшей части кладбища...

Повидимому, под влиянием мучившего меня тогда вопроса, однажды в моей голове мелькнула мысль:

— Они—здесь, а Бейте—там!..

«Здесь»—среди знати и богатей; «там»—среди нищих, безродных...

Мелочь... Случайное явление, имевшее вполне точное объяснение... И тем не менее это сопоставление произвело на меня потрясающее впечатление...

Несколько недель спустя я утащил из стола сестры, к тому времени освобожденной из тюрьмы, какой-то разрозненный номер издававшегося в Швейцарии журнала: «Równość» («Равенство»)... Этот номер сделался для меня откровением... Статья Казимира Длуцкого ¹⁾ затрагивала больной вопрос об «изменениях в польском характере», нападала на польское общество, у которого на языке возвышенные идеи патриотизма, а в жизни—самый пошлый гешефт.

Некоторое время спустя мне повезло утащить из того же стола—непеснякаемой сокровищницы—стихотворение, написанное одним из заключенных,—стихотворение, описывающее разгром Польши сворой царской опричины и отмечающее, что Польша «тихим, пропитанным болью голосом воспевает свое прошлое, оставляя будущее на волю рока». И когда? Когда на Западе рвутся в бой измученные народы и под знаменем «прогресса шествуют к лучшему будущему»... Автор далее говорит о той молодежи, которая в Польше откликается на революционный зов Запада,—о молодежи, целью которой является счастье немущих и угнетенных, гниющих, поработенных, потом и кровавыми слезами которых построено величественное здание цивилизации, для них закрытое и недоступное.—о молодежи, для которой «жизнь—борьба с царями», «борьба народа с туеядцами»...

Мне, 14—15-тилетнему мальчику, казалось тогда, что я все понял, все познал, все решил... И с этого момента моя судьба, моя вся дальнейшая жизнь была предопределена, предрешена...

2.

Не скоро мне удалось заполнить соответствующим содержанием брешь в прежнем мировоззрении.

Сестра была выслана в Сибирь, ящик ее письменного стола опустел.. Никаких путей раздобыть книги, специально посвященные вопросу «о патриотизме и социализме», у меня не было... Выручил и помог случай. Я захворал, и врач отправил меня в Цавинцу, курорт в Галиции. Здесь я встретился с студентом Казимиром Цавинским, только что освобожденным, но отбытым годичного за-

¹⁾ В настоящее время председатель «стрелков»- преторищев Нил-удского.

вдоchenия, из крепости ¹⁾). Он был лет на шесть, на восемь старше меня. Для него все мучившие меня вопросы уже были вырешены. От него я получал, наконец, прямые указания на литературные источники по интересовавшему меня вопросу. Я с жадностью набросился на книги... Многого стало для меня тогда ясным... О многом я тогда только впервые узнал...

После восстания социалистическая мысль безудержно приближалась себе русло, а мы, польская молодежь, даже не знали об этом... Только тогда я узнал, что в Цюрихе с 1872 г. существовало «Польское Социал-Демократическое Общество», признававшее капитал исключительной собственностью трудящихся-производителей, а землю—общим источником благосостояния обществ и общин, обрабатывающих ее, выставившее лозунг самоопределения национальностей, призывавшее к свержению ига Германии, Австрии и России, поработивших Польшу, но мыслившее это освобождение не путем национального восстания, а путем социальной революции.

Но это крупнейшее событие в то время произвело на меня гораздо меньшее впечатление, чем то, что видный деятель польского восстания, генерал Валерий Врублевский, принял участие в Парижской Коммуне и стал социал-демократом, само собою разумеется, не в современном значении этого термина. Он, насколько помнится, публично заявлял, что социал-демократическое знамя может быть знаменем Польши, что народы Польши и России должны вместе восстать под старым знаменем польских борцов: «За нашу и вашу свободу!». Чем больше я читал тем понятнее становилось для меня, почему сестра перешла в ряды социалистов.

Существовавший уже тогда раскол между польскими социалистами, разделявший их на два враждебных лагеря—патриотов и интернационалистов, как это ни может показаться странным и непонятным, мною в то время не был замечен. Проследить хронологически развивавшееся движение по тем случайным источникам, которые мне попадались в руки, было немислимо... В моих познаниях в этой области были огромные пробелы, многое—по тогдашнему уровню моего развития—было для меня непонятно, недоступно. Я вполне основательно усвоил, что «социалистическая идея шире и выше идеи патриотизма», но от этого до полного и до некоторой степени враждебного противопоставления этих двух идей была дистанция огромного размера... Между тем эта дистанция была уже

¹⁾ Умер несколько лет спустя в Цюрихе.

давно пройдена. На международном конгрессе в Хур (в Швейцарии) эти два направления, уже вполне оформленные, столкнулись друг с другом перед лицом всего Интернационала¹⁾. Но это в то время мне еще не было известно, и, буквально, как снег на голову, обрушилась на меня маленькая книжонка с отчетом о праздновании 50-летия восстания 1830 г. в Женеве по инициативе польских социалистов...

В этом празднестве приняло участие около 500 социалистов всевозможных национальностей: немцев, французов, итальянцев, швейцарцев, русских, поляков...

В сущности, это не было празднование 50-летия восстания, а похороны лозунга независимости...

Маркс и Энгельс, Лафарг и Лесспер в присланном письме, как бы игнорируя взгляды устроителей, павенщавших в приглашениях, что «прежний лозунг—«Vive la Pologne!» (да здравствует Польша!)—совершенно потонул в волнах классовой борьбы, в повороте борьбы труда с капиталом», приветствуя загорающуюся классовую борьбу в Польше, призывали к объединению польских революционных сил с русскими, считая, что это даст лишний толчок к тому, чтобы повторить прежний лозунг: «да здравствует Польша!»

В сущности, Маркс, воскрешая этот лозунг, вкладывал в него совершенно новое содержание. Но пионеры молодого польского социализма интуитивно чувствовали, куда может повести это, и, несмотря на весь авторитет Маркса, решительно отвергли его.

«Долой патриотизм и реакцию!», «Да здравствуют Интернационал и социальная революция!»—вот лейт-мотивы всех речей польских социалистов...

«Есть народ более несчастный, чем Польша.—это народ пролетариев», повторяет Варшавский слова «Интернационала», и тут же указывает, что если ранее очагом революции была Польша, то теперь уже революцией чревата Россия и руководят ею социалисты...

На меня, читавшего эти строки в то самое время, когда по всей России разносились раскаты героической борьбы «Народной Воли» с самодержавием, эти слова производили магическое действие... Герои восстаний—Костюшко, Домбровский—как-то ступеньвались в моем воображении. Их место занимали Засулич, Желябов, Перовская...

¹⁾ См. об этом мою статью в «Русском Богатстве» за 1907 г. под заглавием: «Раскол в Польской Соц. Партии».

Это не была перемена убеждений. Вряд ли в то время были у меня убеждения... Это была перемена веры, культура.. Мертвая, застывшая вера заменялась живой, действительной...

Из Щавинцы я вернулся совершенно другим человеком... Анастия исчезла, я ожил душой...

Вопрос—«что делать?» для меня, 17-тилетнего юноши, к о н е ч н о, не существовал...

Такие вопросы возникают лишь в более позднем возрасте, когда суровый жизненный опыт ишем разочарования успеет охладить горячий порыв души, когда червь сомнения успевает подточить иной раз даже в корне нежную поросль надежды и веры. Но мне было всего лишь 17 лет, и я, связанный именно этими 17-ю годами, готов был идти на бой со всем миром — лжи и лицемерия, обиды и несправды, со всем миром горя и неволи... Я не ставил себе вопроса «что делать?» Для меня этот вопрос не существовал. Для меня было ясно, как день, что надо идти к своим сотоварищам, к таким же 17—18-тилетним горячим юношам, как я, поделиться с ними своей верой, своей правдой, объединиться, сплотиться, «подучиться»,—эту необходимость я смутно сознавал,—а затем всем вместе «от лигующих, праздно болтающих, обагривших руки в крови», перейти «к стаи погибающих», открыть перед ними причины гнетущего их рабства, открыть им глаза на ту силу, которая в них сокрыта, разбудить эту силу и... тогда... тогда... тогда... великое дело будет сделано. Рухнет в пропасть царство неправды и рабства, а над землей воссияет яркое солнце свободы...

Все было так просто, так ясно, так легко...

Мы все, конечно, были обречены на гибель,—это было ясно, это было, пожалуй, в моем тогдашнем представлении даже необходимо,—какая же в самом деле борьба без жертв, без самопожертвования?—но это была лишь мелочь, деталь, да притом такая хорошая, такая красивая деталь...

Счастливые минуты!

Мое тогдашнее душевное настроение весьма походило на настроение того юности-рыцаря, который задается целью разбудить спящую царевну, не взирая на ожидающие его лично испытания... А объект всех этих душевных мук и забот—весь трудящийся люд—тоже представлялся мне вроде этой спящей царевны, которую стоит лишь разбудить чудодейственным дуновением социализма, и он проснется, восстанет, сбросит с себя позорное иго рабства, освобождает и себя и всех...

Вооруженный этим факелом горячей надежды и веры, я, по возвращении из Галиции, решил поделиться ею с теми товарищами вое гимназии, которые, по моим предположениям, могли откликнуться на мой зов... Случилось наоборот: не я нашел подходящих товарищей, а они нашли меня.

Однажды, по окончании уроков, когда я направлялся домой, шедший вместе со мной Людвик Савицкий¹⁾ совершенно для меня неожиданно бросил мне вопрос:

— А что, от сестры из Сибири ты получаешь письма?

— А ты разве знаешь, что она в Сибири?

Я с ним никогда об этом не говорил...

— Еще бы! Многие из нас знают это...

Это было для меня неожиданностью... Я не скрывал ни перед кем, что сестра была арестована и выслана.. Но я почти ни с кем об этом не говорил... Это было и мое горе, и моя гордость...

И профанировать этого рассказами встречному и поперечному я и не хотел, и не мог. Но в словах Савицкого чувствовалось не любопытство, а как бы желание выразить сочувствие мне и преклонение перед ней... И мы скоро поняли друг друга... Оказалось, что, замкнувшись в своем горе и в своих сомнениях, я отстал... У нас в классе уже был социалистический кружок, а я и не подозревал этого... Савицкий же и начал разговор со мной с определенной целью привлечь меня в состав этого кружка.

Когда мы расстались с ним, я задал себе вопрос, кто из товарищей по классу входит в состав кружка? Часть, и весьма значительная, была сразу мною отвергнута. Это—«зулусы», по тогдашней терминологии—дикари, которым, кроме их будущей карьеры и удобств жизни в настоящем, все человечество было совершенно чуждо. Таких было огромное большинство, при чем они делились на две категории: одни были «зулусами» и ничем не прикрывали своей «зулусовской» паготы, другие были зулусами-лицемерами.

Достойные сынки своих достойных отцов, они свой карьеризм возводили в принцип и прикрывались патристической фразой: благом родины и т. д.

Оставалось человек десять, юных душой, отзывчивых. Я перебирал в уме их фамилии и остановился лишь на шести... Савицкий, Козерский, Вацлав и Игнатий Домбровский, Трочевский,

¹⁾По окончании школы покончил жизнь самоубийством в Париже в 1893 г.

Напановский... Я ошибся только относительно Панпановского. Товарищи оказались более чуткими, чем я, и этот будущий предатель не оказался в числе новых заговорщиков... Шестым был Центнарович, которого я причислял к «зулусам»... Стройный, элегантный, весьма заботившийся о своей внешности, он не казался мне подходящим кандидатом в революционеры... Но я ошибся.. Оказалось, что он тогда уже умел сочетать заботы о своей внешности с заботой о внутреннем содержании.

Первое собрание кружка произвело на меня неизгладимое впечатление. Кроме нас, жесткотых юнцов, лидером которых был весьма серьезный, начитанный и сильно превосходивший нас своим развитием Людвик Савицкий, присутствовали: Казимир Пухевич, кандидат прав, уже не раз привлекавшийся жандармами за социалистическую пронагазду, и тоже побывавшие уже в Цитадели рабочие Сливяцкий и Пацке...

Кружок вначале имел лишь характер кружка самообразования.

На первом заседании Савицкий читал реферат об «Ассоциации» Михайлова.

При кружке была библиотечка, в которой преобладали русские экономисты. Я был поражен недавно вышедшей «Экономической политикой» Иванюкова...

Дискуссия по поводу прослушанного реферата велась деловито, серьезно...

Я не принимал в ней активного участия. Присутствие на заседании рабочих уже само по себе производило на меня потрясающее впечатление... Это была моя первая встреча с рабочими... Я всматривался в их лица с напряжением, словно пытался прочесть роковой ответ: поймут ли они нас, восстанут, или же нас постигнет та же участь, какая постигла повстанцев 1861—1863 г.г., когда они прибывали на бой крестьян и наткнулись на полное равнодушие, полную безучастность?

— Темный народ!—мелькнуло у меня в душе.—Много придется поработать над ним, чтобы его просветить...

Но вот один из представителей этого «темного народа»—Носиф Пацке—выступил с возражениями Савицкому... Я оценил... Но сравненно с ним я был круглым невеждой... Он ссылался на источники... Точно формулировал... Умело улавливал слабые стороны противника...

Я был совершенно уничтожен... Куда мне с моими скудными знаниями соваться к рабочим.

Это заставило меня услащенное заниматься и готовиться к работе, а ранее я только думал, что приду, увижу, заговорю,—и победа обеспечена.

3.

Мои опасения были крайне преувеличены. Таких рабочих, как Пашке, было, к несчастью, весьма немного. С теми же, с которыми мне приходилось в первое время встречаться, мне нетрудно было справиться. Это был народ темный, неразвитый и отличался от русского рабочего лишь более горячим темпераментом, большей революционностью, известными революционными традициями... Эти рабочие были постольку же социалистами, поскольку и патриотами. Если бы в то время патриоты развили более энергичную деятельность, если бы они платонические вздохи заменили живым делом, то в то время, когда в рядах рабочих еще находились и повстанцы, как, напр., Фроминский, впоследствии осужденный на каторгу, и во множестве дети повстанцев, они могли бы иметь успех.. Но тогдашние патриоты уже усели, как Петр от Христа, трижды отреченные от своих предшественников-романтиков, и в своих храмах водрузили новое знамя, новый «завет». «Грезы о политической самостоятельности ныне должны быть заменены лишь стремлением к внутренней самостоятельности»...

Так говорил тогдашний польский Заратустра, идеолог «интеллектуализма» Александр Свентоховский, так говорили патриотические пророки, звавшие на борьбу за завоевание не свободы, а рынков сбыта товаров...

Это завоевание могло быть достигнуто лишь при «нормальных условиях», лишь тогда, когда обретенное спокойствие, хотя бы и кладбищенское, не будет нарушено никакими народными волнениями... И эти прозаические сыны романтических отцов звали лишь к спокойствию, банальными фразами пытались залить малейшую вспышку пламени увлечения, всю энергию направляли на развитие промышленности.

Им и в голову не приходило, что каждая вновь выстроенная фабрика—это новая казарма революционной армии, это—наконде-

двигавшего горячего пролетарского материала... И в тот момент, когда их цель была достигнута, когда клубы дыма из фабричных труб, казалось, уже совершенно окутали лазурное небо, совершенно неожиданно для них из душных рабочих казарм вырвалась песня:

„Смело поднимем знамя рабочих“ 1)

С этого момента доступ патриотам в рабочие массы был закрыт.

Но в стране, разорванной на части, угнетенной, в одной части русифицированной, в другой германизированной, в стране, пользовавшейся некогда республиканскими свободами, а затем свергнутой в бездну царско-гурковско-анухтинского произвола, несомненно, была почва для течения, впоследствии получившего название социал-патриотического... Апостолы этого течения проникли в рабочую массу, вначале даже пользовались успехом, но очень скоро исчезли с рабочего горизонта.

И не из-за того, что у них не хватало умения, энергии, самоотверженности... Лимаповский, Сосновский, Выслоух, Познанский, Валяцкий не могли быть обвинены в этом. Причина их неуспеха скрывалась в рядах все той же буржуазии, которая, совершенно не отдавая себе отчета в настроении рабочего класса и поклоняясь единому божку—золотому тельцу, своими действиями вырывала с корнем из рабочей среды малейшее проявление чувства национального единства...

С одним из таких явлений мне пришлось столкнуться у самого порога своей деятельности...

То было в апреле 1882 г. Единственная, находившаяся еще в руках поляков железная дорога—Венская—по каким-то, может быть, даже самым основательным соображениям, решила сократить расходы по производству...

Это «сокращение» было поручено некоему Альтдорферу. Он сократил аккордную плату, одних рабочих совсем удалил, других пытался перевести на худшую и хуже оплачиваемую работу... Рабочие с негодованием и возмущением отвергли эти предложения. На этой почве, в связи с бессовестной алчностью патриотической

1) Первая строчка популярной и среди русского пролетариата „Варшавянки“.

дирекции, создавался конфликт. Рабочие, удаляемые из мастерских из-за отсутствия работы, по закону должны были получать при расчете $\frac{2}{3}$ своих взносов в пенсионную кассу. Этому права лишились удаляемые из-за нежелания подчиняться распоряжениям администрации, за лень и переработку. Не имели права на возврат своих взносов и добровольно покидающие мастерские.

И вот на этом-то прославившемся Альтдорфер построил план своей финансовой политики. Все принятые им меры были направлены на то, чтобы рабочих заставить самих уйти и «сберечь» для управления жел. дороги их скудные сбережения. Рабочие волновались, но это Альтдорфера не смущало. Он сознательно провоцировал столкновение и при объяснениях с рабочими доходил до того, что бросился на одного из них с поднятой рукой... Это было последней каплей, переполнившей чашу раздражения... Раздалась звонкая пощечина, отвешенная мозолистой рабочей рукой «самому» Альтдорферу, а вслед затем началась забастовка...

Перепуганное «патриотическое» управление Венской жел. дороги обратилось за помощью к русским жандармам...

И рабочие, и молодежь ояздали, что вся пресса ответит на это криком негодования и возмущения... Ведь этим актом «сыновья» обращались за помощью и поддержкой к палачам своих собственных отцов... Но пресса стала на сторону преследовавших и обрушилась на преследуемых, обвиняя рабочих в отсутствии патриотизма...

С этого момента уже прошло 38 лет. К происшедшему тогда событию можно уже отнестись объективно. Огонь негодования, который тогда пылал в душе рабочих и молодежи, угас и покрыт пеплом давности. Но и ныне, когда я вспоминаю об этом событии, когда я вспоминаю о той роли, какую тогда сыграли жандармы, очень быстро ориентировались в положении и поразившие рабочих своей кротостью, когда я вспоминаю то горькое чувство обиды за оскорбление всей святаи святых моей молодости и детства, я не могу не повторить слов, вложенных в уста «Перевозчика» Адамом Шимапским: «Негодян! Возвратите мне мать мою!»

О, как сжимались тогда кулаки против тех, кто идеально чистую любовь к родине и горячую веру втоптал в жандармскую грязь! Нам тогда стыдно стало за своих отцов... А эти отцы даже не отдавали себе отчета в том, что «порвалась цепь великая» и «ударилась одним концом по отцам, другим—по сыновьям», что уже тогда их же собственным заступом вырыта была могила-пропасть.

которой уже ничто не могло заполнить. Тогда классовая борьба.. антагонизм классов еще не были осознаны.. и честь ускорения процесса осознания, несомненно, принадлежит не самим рабочим и не социалистическим агитаторам, а буржуазии...

Одержанная тогда управлением Венской жел. дороги победа для буржуазии в целом оказалась Пирровой.. С этого момента «интернационалисты», выпустившие целый ряд воззваний и делавшие сверхчеловеческие усилия, чтобы установить контакт с рабочими массами, окончательно вытеснили из рабочей среды «социал-патриотов».

Победе «интернационалистов» не мало способствовало еще одно обстоятельство.

В то самое время, как в Польше воцарилось весьма выгодное для имущих классов рабье спокойствие, из «варварской» России доносились громы боя... То было время расцвета «Народной Воли»... Взрыв в Зимнем дворце, взрывы на железных дорогах, события 1 (13) марта 1881 г., героическая борьба и героическая смерть на плахе русских революционеров,—как отголоски из России, а в Польше—мольбы «отцов» по адресу «сыновей», чтобы они не поддавались соблазну с востока и, как «скала» (выражение А. Свентоховского), холодно и твердо отражали налетающие на Польшу с востока удары революционных волн...

Жизнь и смерть, борьба и покорность судьбе, движение вперед, к светлому будущему, и стремление назад, к отжитому прошлому—вот синтез того, что происходило тогда в России и Польше...

Мог ли пролетариат, могла ли революционная молодежь не склониться в сторону востока?

В воздухе уже тогда чувствовался порох... Революционный материал уже был палцо, недоставало только организации. И она возникла.

Образовалась первая социалистическая организация в Польше—соц.-рев. партия «Пролетариат». Ранее бывали кружки, кружочки, теперь все это слилось, объединилось, создало единый цельный организм.. Ранее объектом воздействия были отдельные личности, теперь, впервые в Польше со времени восстания, этим объектом должны были стать массы.

Этого не удалось осуществить. Но такова была задача,—увлечь в то время, благодаря соотношению сил в Польше, неосуществимая и вследствие своей неосуществимости приведшая в итоге к гибели, к полному исчезновению партии «Пролетариат».

Самая постановка именно этой задачи имела огромное значение, наметила путь, проложила и углубила русло рабочего движения в Польше...

Возникновению социалистической организации в Польше не мало способствовал пример России, но из России же были позаимствованы приемы борьбы, в частности—политический террор, который и в Польше, создавая паружно-пллюзию силы, изнутри, как червь, подтачивал организацию.

Но это обнаружилось и выяснилось только впоследствии.

На первых порах совершенно другая сторона террора занимала молодежь.

До тех пор, пока в Польшу проникали только отголоски террористической борьбы, самопожертвование, мужество и мученичество борцов не могло не питать новыми соками усвоенного с детства:

«Dulce et decorum est pro patria mori».

«Сладко умереть за отчизну!»

Но когда этот вопрос стал в Польше на очередь дня, перед многими, и, в частности, передо мной, стал другой вопрос:

Умереть?—да! А убивать?!

Мы были тогда безусловно чистыми, любящими, готовыми в любой момент «отдать душу свою за други своя» детьми.

Для нас вопрос о терроре решался чуть ли не исключительно в плоскости личной этики, и одна мысль об убийстве, о лишении человека жизни, кто бы он ни был, вызывала в нас ужас...

Это была первая капля яда в моей жизни, как революционера...

В программе «Пролетариата» пункт о терроре, словно красное пятно на прозрачно-светлом фоне, приковывал мое внимание, несмотря на то, что этот пункт до поры до времени был лишь мертвой буквой.

Я мучился, страдал, и эти горькие чувства испортили и отравили самую светлую полосу в тогдашней революционной жизни—первую настоящую битву партии с царским правительством.

4.

Кто ребенком в колыбели оторвал голову гидре,
Тот юношей задушит кентавров.

Эти строки Мицкевича приходят невольно на память, когда вспоминаешь событие, в первый раз за все время существования Польши всколыхнувшее до самого дна польские рабочие массы, но одновременно с этим поставившее на очередь дня вопрос о терроре и приведшее к расколу.

В феврале 1883 года варшавским обер-полицеймейстером Бутурлиным было издано возмутительное постановление о санитарном осмотре всех женщин, работающих на фабриках, заводах и в ресторанах, хотя бы они работали на одной фабрике, за одним станком с отцом или мужем... Исключение делалось лишь для тех, за благонравное поведение которых поручится владелец фабрики или завода...

Нанесенное всему рабочему классу оскорбление не могло быть оставлено без ответа. Это сознавалось всеми... Но в то время, как одни, придавленные сознанием своего бессилия, терзали себя и других вопросом: «что делать?», на других это распоряжение действовало возбуждающе...

«Желают борьбы? Будут ее иметь!»—крикнул Варынский под первым впечатлением оgorошившего всех известия.

Я раза два до этого видел Варынского, пользовавшегося уже тогда, как неуловимый с 1877 года деятель, огромной популярностью. Я знал его, как организатора, как блестящего оратора, как полемиста... Но теперь впервые увидел его в момент «боевого подъема»... Он был неузнаваем... Великий народный трибун—он как бы теперь воспринял в своем лице нанесенное рабочему классу оскорбление и, словно мицкевический «Миллион», «страдающий» и оскорбленный за «миллионы», жил единой мыслью о достойном ответе... В обычное время вождь, в этот момент он сделался диктатором.

— Желают борьбы? Будут ее иметь!—повторял он свое первое восклицание, включенное и в изданное и им составленное воззвание к рабочим:

«Граждане рабочие!

Распоряжением обер-полицеймейстера от 10 февраля отдан приказ подвергать полицейскому санитарно-врачебному осмотру всех женщин, работающих на фабриках, в мастерских и в магазинах, а равно и прислугу общественных заведений. Это—невиданное и до сих пор нигде не слыханное оскорбление. Достаточно, значит, жить трудом, чтобы носить на челе клеймо проститутки! Ваших жен, дочерей и сестер, только потому, что судьба заставляет их работать, закон причисляет к уличным блудницам, торгующим своим телом. А для того, чтобы избежать этого позорного осмотра, нужно заручиться благосклонностью господина фабриканта. Другими словами: каждую работницу, которая не желает во всем подчиняться фабриканту, он волен отдать в руки полиции, поместить ее в списки проституток.

Рабочие! Вам нанесена пощечина, вас пытаются опозорить, пытаются испытать ваше терпение, вашу покорность!

Чем вы на это ответите? Неужели вы позволите гнусным агентам надругаться над более слабой половиной вашего же—рабочего класса. Неужели вы обречете ее на жертву самой необузданной эксплуатации, на жертву разврата упитанных вашей кровью фабрикантов, которым правительство дает новое оружие для подавления всякой непокорности, всякого сопротивления.

Рабочие! Вы не должны допустить до этого! Вы не можете и не должны уклониться от опасности, нависшей над рабочим классом. Сделанное на вас нападение необходимо отразить, хотя бы этот протест пришлось окупить кровью. Лучше смерть, чем позор!

Мы призываем вас выступить дружно против этого гнусного распоряжения. Докажите, что вы люди, что вы умеете защищать свою честь, что жертвы вас не пугают.

— Желают борьбы—будут ее иметь!

Рабочий Комитет.

Варшава. 13 февраля 1883 г.

«Они желают борьбы! И будут ее иметь!»

Это воззвание было расклеено по всему городу... Рабочие находили его на своих станках и верстаках, в карманах пальто.— Везде.

Неутомимый, я бы сказал, незаметный в обычное время, «Дулемба Малый», как мы его называли, проникал во все фабрики, рестораны, пивные, заводил беседы с рабочими, объяснял, агитировал. И уже на следующий день видно было, что это революцион-

ное семя падает на плодородную почву... Рабочие и работницы кучками начали собираться и в зданиях фабрик, и вблизи их, и оживленно обсуждали, как быть... Масса шевельнулась... Огонь ничем не вызванной обиды и грубого оскорбления разжег сердца. Предстояла борьба!

Но в Польше не было и не могло быть того заблуждения, на которое мне впоследствии весьма часто приходилось наталкиваться в России, оболыщения тем, что власти «не посмеют», «не решатся»...

Дети польских повстанцев, поколение, выросшее в атмосфере «водворения порядка» в Польше, воспитанное на рассказах о «подвигах» Муравьевых-вешателей, Бергов, испытывавшее на себе приемы управления Гурко и Апухтина, мы знали, что агенты царского правительства в Польше «на все решатся», «все посмеют»!

И перед нами возникал вопрос: как быть, если первое выступление рабочих будет задушено в крови, и распоряжение Бутурлина будет приведено в исполнение уже хотя бы ради «поддержания престижа власти»?

На этот вопрос Варынский, не колеблясь, отвечал:

— Тогда—террор! Бутурлин должен быть тогда убит... Рабочие тогда воочию увидят, кто выступает на их защиту... Только тогда они сплотятся вокруг партии!

Все эти соображения для меня в то время не существовали. Лично для меня вопрос стоял в совершенно другой плоскости...

На то, чтобы быть убитым, я соглашался, но чтобы убивать самому—нет....

Я органически не был способен на убийство—и... оказался в лагере тех, которые были принципиальными противниками политической борьбы, «непосредственной борьбы с правительством», и которые до этого исторического момента оставались в партии «Пролетариат», рассчитывая на то, что этот пункт программы останется лишь... на бумаге... Когда же события дня убедили их, что этот расчет неверен,—произошел раскол... Небольшая группа интеллигентов во главе с Пухевичем и несколько человек рабочих откололись от партии и организовали новую партию—«Солидарность».

Для меня эта партия имела в то время лишь то значение, что это была антитеррористическая партия... И только... Этот плюс покрывал все минусы, а этих минусов было немало... Партия эта называла себя не «социалистической», а «рабочей», о борьбе с правительством в программе если и говорилось, то лишь м.е.ж.д.у. строками;

вопросы текущего дня—борьба за повышение вознаграждения за труд и улучшение условий труда—превалировали над всем... Да и эта борьба должна была вестись «с достоинством», как говорилось в программном воззвании...

Составитель этой программы, Казимир Пухевич, которому была совершенно чужда психология масс, как бы мыслил борьбу рабочего класса за эмансипацию в виде организованного, регламентированного заранее и зажатого в определенные, им составленные, рамки движения тихого, спокойного, без эксцессов, сдержанного и выдержанного во всех подробностях, во всех деталях.

«Солидарность» как бы схоронилась в уютный кабинет, в то время, как разбушевавшиеся волны жизни с силой ударяли не только по кабинетным, но по всяким стенам..

Настроение в рабочих кварталах поднялось на небывалую со времени восстания высоту... Пролетариат готовился к бою... Исполнение распоряжения Бутурлина было чревато кровопролитными схватками,—и оно было отменено. Власти испугались... Престиж партии «Пролетариат» сразу поднялся в глазах рабочих... Почва для деятельности партии была завоевана... Земля была разрыхлена, оставалось лишь сеять, сеять и сеять..

Второе воззвание «Пролетариата», возвещавшее об одержанной победе и призывавшее рабочих и работниц организовать, было началом этого обильного сева...

Брешь, образовавшаяся в организации, как следствие раскола, была вскоре пополнена новыми силами, прибывшими на зов Варынского из Петербурга; привезенные из заграницы контрабандным путем брошюры, в том числе Млота (Дикштейна) «Кто чем живет?», заполнили пробел, давно ощущавшийся всеми, и работа быстро подвигалась вперед..

Работа партии «Пролетариат»..

«Солидарность», замкнувшаяся в тесные рамки своей программы, не сумела развить более широкой деятельности и явно, на глазах у всех, увядала...

Я лично был разочарован... Я жаждал деятельности, я сгорал от этой жажды,—а партия бездействовала..

Не было книг, да же брошюр, не с чем было обратиться к рабочим, я вызвался съездить за границу и привезти книги... Мне разрешили это исполнить... Только «разрешили»,—не больше..

Эту вялость я объяснял себе тем, что большинство из членов «Солидарности» как раз в это время.. держало выпускные экзамены

на аттестат зрелости... Это отвлекало от партийной работы... Но вот мы окончили гимназию, я успел съездить в Галицию, перевезти транспорт книг, вернуться обратно в Варшаву, а вялость организации не проходила, наоборот, как бы усиливалась.

Вдохнуть жизнь в эту организацию я не мог, это я сознавал ясно, и моя мысль была направлена в другую сторону, в сторону проверки своего отношения к террору... Я воспроизводил в душе все ужасы, творимые царским правительством в Польше, настраивал себя на соответственный лад и неизменно приходил к тому, что я, как мститель за обиды, жертвую собою для дела...

То обстоятельство, что я жертвую не только собою, но и тем, на которого направлена моя месть, как-то заволакивалось, ступшевывалось... Жажда деятельности толкала на компромисс, а сознание, что этот компромисс будет искуплен моими муками и страданиями, делал его приемлемым...

Несколько месяцев спустя в первом своем литературном труде, напечатанном в нелегальном органе партии «Пролетариат», я изобразил тогдашнее свое душевное состояние... В очерке под заглавием «Забастовка» я представил уже обычную в то время картину борьбы труда с капиталом.

Рабочие дружно забастовали... Фабрикант, имевший накопленные запасы изделий, не сдавался... Забастовка затянулась... Рабочие голодали, но продолжали борьбу. Тогда по приглашению фабриканта в дело вмешались жандармы и казаки. Вмешательство вооруженной силы поколебало стойкость рабочих... В этот момент член партии (конечно, в моем представлении не кто-либо другой, а только я!), по поручению организации, взрывает на воздух фабричные магазины вместе с караулившими их и обagrившими свои руки в крови рабочих казаками, сам гибнет во время этого взрыва, а запуганный фабрикант идет на уступки, удовлетворяет все требования забастовавших... Рабочие побеждают...

Много месяцев спустя прокурор, требуя для нас всех смертной казни, широко распространялся о нашей, в частности же о моей, кровожадности.

Великий знаток человеческой души!

Как он тонко разбирался в нашей психологии!

Много лет прошло с тех пор... Чего, чего не приходилось испытывать за это время... Победы сменялись поражениями, поражения—победами... Воодушевление—упадком духа, упадок духа—воодушевлением... Сколько крови за это время пролито, сколько жиз-

ней унесли волны борьбы... Сколько революционных поколений сменилось и ушло... Сколько раз на мою долю выпадало переживать дни молодости!..

Все все переживалось по нескольку раз... Все, кроме тогдашней юной, я бы сказал, девственной чистоты чувств и побуждений, страстной жажды деятельности и принесения себя в жертву...

Каждый день задержки в этой деятельности я считал с своей стороны преступлением. И я разрубил узел, связывавший меня с «Солидарностью». Я зашел к Савицкому..

— Я ухожу от вас... Я не могу больше.. Меня томит бездеятельность...

Он не возражал..

На следующий день я уже был в рядах партии «Пролетариат»...

5.

Я сразу с головой окунулся в бурные волны революционной деятельности.

В «Пролетариате» работа уже была налажена, организована... В то самое время, как в «Солидарности» люди томились без дела, здесь, наоборот, для дела не хватало людей... В особенности в тот момент, когда я предложил партии свои услуги. Это было в конце сентября 1883 года.. Варынский, Ентыс, Плоский выбыли из строя, со дня на день можно было ожидать новых арестов.. Особенно ощутителен был, конечно, арест Варынского.

Душа и организатор партии, опытный конспиратор, в течение шести лет ускользавший от жандармов и приобретший реноме «неуловимого», Варынский попался в руки полиции совершенно случайно и по своей собственной непростительной оплошности... Он оставил на прилавке в магазине, где покупал почтовые марки, сверток с корректурами статей,—в частности, знаменитой ныне «Варшавянки»... Хватаянпсь, он, вместо того, чтобы, по возможности, скорее скрыться, вернулся, взял сверток и спокойно направился в ближайшую кондитерскую, где у него было назначено свидание с Верой Шуленниковой, членом организации «Народной Воли», скрывавшейся в Варшаве и занимавшейся, главным образом, сбором средств среди русских либеральных чиновников в пользу политических заключенных..

Несколько минут спустя в кондитерскую вошел околоточный, уведомленный уже лавочником о содержании вскрытого им оставленного Варыньским пакета...

Сразу сообразив, какая опасность ему угрожает, Варыньский, не подавая вида, что заметил околоточного, как ни в чем не бывало, продолжал беседу со Щулепниковой, не спуская глаз с него.. Пакет с корректурными листами лежал на столе, и на него были устремлены взоры околоточного. Это не ускользнуло от глаз Варыньского, и в решительный момент, когда околоточный, как гончая, бросился на добычу, Варыньский схватил пакет и забросил его под диван... Остроумный полицейский сунулся туда же за пакетом. Этого только и ждал Варыньский. Подтолкнув его дальше под диван, он схватил Щулепникову за руку, выбежал из кондитерской, ее направил в одну сторону, а сам стремглав бросился в другую.

Только минутой спустя, выбежал околоточный вслед за ним из кондитерской.. Началась погоня... На свисток околоточного со всех сторон сбегались городовые... Еще несколько минут,—и самый крупный социалистический деятель в Польше очутился в цепких руках полицейских...

Все документы, какие были при нем, он успел уничтожить. Щулепникову он спас от ареста, и она только несколько месяцев спустя была арестована в Киеве,—но сам погиб... Два года с лишним он провел в предварительном заключении в 10-м павильоне Варшавской Цитадели, а затем, приговоренный к 16 годам каторжных работ, был отправлен в Шлиссельбург, откуда, по заявлению одного из жандармских генералов, «не выходят, откуда выносят».. Он там заболел туберкулезом, и его «вынесли» и схоронили под тюремными воротами, на берегу озера, в месте, где и до него и после него хоронили многих...

В 1905 году, когда ворота царской Бастилии на некоторое время открылись, я отправился туда вместе с покойными Рехневским и М. А. Натансоном и расспрашивал бывших жандармов, добываясь от них указания места, где он похоронен..

— Здесь, где-нибудь,—ответили жандармы, указывая на место, сплошь покрытое щебнем и камнями, ничем не напоминавшее могилы.

— Здесь?

— Должно быть, здесь.. Отгребешь камни, выкопаешь яму, спустишь гроб, а затем все опять землей, щебнем и камнями выровняешь..

— Всех так хоронили?

— Всех...

Другой видный деятель партии, Александра Ентыс ¹⁾, классная дама и учительница математики в Маринском институте в Варшаве, была арестована на почте в момент, когда пришла за письмами, присылаемыми *poste restante*.. Отказ назвать свою фамилию спас Ентыс.. Кто-то заметил, что ее вывели из почты в сопровождении жандармов; вся организация была поставлена на ноги, а бывшая у них часто в институте Витольда Карпович ²⁾ помчалась на извозчике в институт, очистила квартиру от всего подозрительного, часть бумаг сожгла, другую увезла, нелегальные издания и типографские принадлежности уложила в корзину и отвезла на хранение на вокзал, а оттуда уже на другом извозчике—на другую квартиру.. Поблизости от института Карпович встретила с жандармами, уже установившими личность Ентыс и направлявшимися в институт.. К счастью, там уже никого и ничего не нашли. Только этому Ентыс обязана тем, что не попала на скамью подсудимых и отделалась лишь административной ссылкой в Сибирь.

Плоский—третий из арестованных в эти памятные дни—в организационной и агитационной работе не принимал наиболее деятельного участия. Литератор-публицист, он служил партии по преимуществу пером. для работы среди рабочих не подходил, и поэтому его арест был в то время для партии менее ощутителен, чем арест Варынского и Ентыс, который был невознаградимой потерей...

Только этой потере следует приписать то, что я, в то время еще совсем зеленый юноша, смог с головой окунуться в революционную работу... Моим «крестным отцом» в этой работе был казненный впоследствии Станислав Куницкий. Живой, как ртуть, быстро воспламеняющийся, типичнейший «народоволец», в России враждавший в интеллигентских террористических кружках, он в Польше только впервые столкнулся с рабочим классом и буквально опьянел от восторга. По матери грузин, воспитывавшийся в России, плохо владевший польским языком и плохо ориентировавшийся на первых порах в польских отношениях, он некоторое время колебался и терзался сомнениями. сможет ли он работать среди польских рабочих...

¹⁾ По мужу Булгакова.

²⁾ Впоследствии по мужу Рехневская.

Но его влекло к ним.. Он интуитивно чувствовал, что теперь только перед ним настоящий революционный элемент, и, увлеченный, строил воздушные революционные замки.

Обо мне он уже слышал, знал, что я—человек в политическом отношении «надежный», и с первого же слова настаивал на том, чтобы я перенял некоторые связи с рабочими и самостоятельно вел для начала один кружок..

Я струсил..

— Боюсь, что не справлюсь..

— Пустое! Введем вас.. Присмотритесь..

В ближайшее воскресенье я не без волнения сидел в трактире и ждал прихода представителей кружка и Куницкого, который должен был «на практике» показать мне, как это «дело» вести..

Долго ожидать мне не пришлось. Запаздывание на сходку не допускалось.. В назначенное время пришел Куницкий, а несколько минут спустя и двое рабочих.. В трактире было людно.. Сидевшие за другими столиками ничем не отличались от нас. Мы так же были одеты, как они, так же сидели за кружками пива, так же вполголоса беседовали..

— Ну, что у вас слышно?—спросил Куницкий.

Рабочие, один исполняя рассказ другого, передавали обо всем случившемся на фабрике за истекшую неделю, о наложенных на рабочих штрафах, об отказе от работы, о столкновениях с директором и мастерами..

Эти рассказы послужили для Куницкого темой для пропаганды..

Он довольно ловко и умело переходил от частного к общему, от частных явлений на данной фабрике—к положению рабочих вообще, говорил об эксплуатации и гнете, как явлениях, неизбежных при капиталистическом строе, рассказывал о будущем социалистическом строе и закончил призывом организоваться. Рабочие слушали его, от времени до времени поддакивая или приводя примеры в подтверждение услышанного от Куницкого.

Немой свидетель всей этой беседы, я окончательно оробел.. У Куницкого все выходило и складно, и убедительно, просто и естественно, в то время как у меня, когда я шел на это свидание, рисовалась в голове совсем другая картина, более эффектная, обставленная более декоративно.. Да и по существу, как мне казалось, я бы не сумел ответить так дельно и деловито на все вопросы..

Подавленный своим невежеством и неспособностью, я не вмешивался в разговор... Но Куницкий не забывал о своей роли паставника.

— Вот теперь товарищ «Стожек» будет постоянно приходить к вам в кружок,—сообщил он рабочим, указывая на меня.

Еще накануне он окрестил меня «Стожеком», своеобразно применяя эти кличку к моей фамилии: «Кон», после присоединения латинского окончания, преобразился в «конус», а «конус»—в переводе на польский язык значит «стожек»—стоячок. С течением времени кличку «Стожек» сменила кличка «Стожикский», а в отношениях с русскими—«Стогов»,—псевдонимы, под которыми мне не раз впоследствии приходилось выступать и на литературном поприще.

— А в какие дни у вас собирается кружок?—спросил я, лишь бы что-нибудь сказать.

— Ну, вы уже тут сами договоритесь,—поднялся со стула Куницкий,—мне уже пора..

Вечером, когда я встретился с «Черным»,—как мы тогда называли Куницкого,—он сознался, что нарочно меня оставил одного с рабочими, чтобы заставить меня вступить с ними в беседу и вынудить самостоятельно отвечать на все их вопросы... Хороший педагог, он не предусмотрел лишь того, что я, только что снявший мундирчик гимназиста юноша, вполне усвоил все приемы «втирания очков», уклонений от ответов, заговаривания зубов. Опасаясь этого tête-à-tête, я немедленно после ухода «Черного» перевел разговор на вышедший тогда первый номер «Пролетариата» и на возвращенную ими по прочтении брошюру П. Кропоткина «К молодежи».. Мы вышли из трактира и, забыв о необходимости соблюдать конспирацию, медленно, разговаривая о прочитанном, направились в Лазенковский парк.

Рабочие, такие же зеленые юноши, как я, но менее, чем я, читавшие на своем веку, слушали меня внимательно, обращались за разъяснением непонятных слов и выражений, непонятых ими отрывков...

Мою робость, как рукой сняло.. Я оживился, забыл, что я не в своей ученической среде, а в среде рабочих, и говорил просто, с увлечением.

Лед был сломан. Мы сблизились, подружились.. Что я дал в то время рабочим—не знаю, во всяком случае, весьма немного; они же дали мне веру в свои силы, в мою годность для работы.

Вечером я сообщил Куницкому о своем первом дебюте.

Снисходительной, доброй улыбкой он поощрял меня к дальнейшей работе..

— Я тоже вначале робел,—сознался он искренно,—но нет работы, которая бы давала большее удовлетворение...

Он был прав.. Я втянулся в эту работу, сначала работал в Варшаве, после в Лодзи и Белостоке, и всякий раз, когда я уходил из собрания с рабочими с сознанием, что я им что-то дал, что-то разъяснил, я испытывал такое чувство удовлетворения, какого никакая другая работа мне никогда не давала.

Я все время учился и учил.. Учился не только по книгам. Часто рабочие вливали в мои познания струю реальной жизни, ставили вопросы, выдвигаемые жизнью, о которых я до этого не думал, и я должен был на них дать им ответ.. Изредка случалось, что я этого ответа не имел и чистосердечно сознавался..

— Не знаю, что вам сказать.. Я посоветуюсь с другими.

И я советовался с более опытными товарищами, рылся в книгах. иной раз по несколько дней бился над вопросом...

А этих, выдвигаемых жизнью, вопросов были сотни. Жизнь рабочего класса со всеми ее болями и страданиями развертывалась передо мной, как в каком-то калейдоскопе..

На одной фабрике юный ферт-инженер не давал проходу работавшей на той же фабрике жене рабочего; на другой--немец-мастер третировал, как скот, «die polnische Schweine» (польские свиньи); на третьей отечественный владелец фабрики обращался с польскими же рабочими как с «быдлом» (скотом); еще на иной сами же рабочие не могли примириться с тем, что в их среду затесался «жид»...

В Белостоке первые пролетарии-евреи, каких мне пришлось встретить, горько жаловались на судьбу, заставившую их зарабатывать хлеб свой в качестве рабочих.. И в этом отношении они, считая такую работу для себя унижением, сходились во взглядах с сотнями польских дворян, обездоленных во время и после восстания 1863 года и заполнивших ряды пролетариата...

Но одинаково воспринимая обрушившиеся на них удары, эти две категории далеко не одинаковую роль сыграли в рабочем движении.

Рабочие-евреи, в то время забытые, я бы сказал, придавленные к земле, покорно склоняли голову под ударами судьбы, мечтая лишь о том, чтобы как-нибудь пробиться, прожить... Только исключительные личности из их среды нашли в себе столько силы, чтобы порвать с традициями среды, не только в силу факта, но и идейно

слиться с пролетариатом, войти, как полноправный член, в пролетарскую семью и поднять знамя борьбы за освобождение.

Полную противоположность в этом отношении представляли рабочие-шляхтичи.. Войдя в рабочую семью, они внесли в нее вынесенный из дворянской среды «гонор», понятие о чести, о личном достоинстве.

Малейшее грубое обращение с ними вызывало с их стороны отпор, и они первые зажгли факел бунта в польском рабочем классе, на первых порах были «зачинщиками», вождями; они первые откликнулись на зов партии...

На первых порах каждая встреча с рабочими была для меня откровением.. Я не ожидал встретить того, что увидел... Никакие книги никогда в жизни не дали мне столько, сколько дало это знакомление с жизнью рабочего, жизнью, в одном отношении резко отличавшейся от знакомой мне жизни буржуазии... В ней не было той отталкивавшей фальши, того противоречия между словом и содержанием, какое толкнуло меня от «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови»—в ряды «погибающих»..

Незабвенны минуты, связавшие меня на всю жизнь с этими «погибающими»!

6.

Недостаток людей в партии лишил меня возможности посвятить себя всецело деятельности среди рабочих.. Не успел я еще основательно освоиться с этим делом, как пришлось приняться за другое..

Куницкому предстояло уехать за границу для переговоров с эмигрантами относительно заграничного органа партии: «Борьба Классов» («Walka Klás») и для предварительных переговоров о планированном союзе с «Народной Волей»... Его должен был заменить Александр Дембский, по характеру и темпераменту являвшийся полной противоположностью Куницкому. Спокойный, уравновешенный, менее блестящий, но более настойчивый, он с необыкновенным самообладанием сочетал поразительную и как-то не вязавшуюся с целым его обликом неконспиративность, что не мешало ему, в случае опасности, поразительно ловко ускользать от рук жандармов. Уже после моего ареста жандармы накрыли его в одной

из варшавских молочных на свидании с Яновичем и Славинским. Пристав подошел к столику, за которым они сидели втроем, со словами:

— Вы арестованы...

— Это мы еще посмотрим!—последовало возражение со стороны Дембского, вытянувшего из кармана револьвер и направившего его на пристава..

Раздались выстрелы... Пристав бросился на стрелявшего также Яновича и вцепился в него... Дембский выстрелил в другой раз... Славинский набросился на пристава, повалившего Яновича и пытавшегося вырвать у него из рук револьвер, высвободил из-под него Яновича, и они оба с Дембским выбежали из молочной, не сомневаясь в том, что Янович следует их примеру, и не заметив, что последний ранен приставом в руку, и что он в таком истерзанном виде, что на улице его может задержать первый встречный городской... Янович тогда же был арестован, а Славинский и Дембский скрылись. Впоследствии Славинский, арестованный во время избирательной кампании в Прусской Польше, по отбытии тюремного заключения в Познани, был выдан германскими властями России, приговорен к смертной казни, а затем помилован и сослан в каторжные работы без срока, откуда благополучно убежал. Дембский же, здравствующий и поныне, так-таки и не испытал прелестей русских тюрем, несмотря на все усилия жандармов, пытавшихся добиться его выдачи Швейцарией, после общезвестного и в свое время прогремевшего на весь мир дела «о цюрихских бомбах»... Дембский был одним из членов этой группы «бомбистов», изготовлявших в Швейцарии взрывчатые снаряды для готовившегося покушения на Александра III и сильно пострадавших от взрыва при испытании под Цюрихом одного из изготовленных снарядов...

Когда я познакомился с Дембским, он уже был известен и своей неконспиративностью, и своим удачным ускальзыванием..

Пока Куницкий был в Варшаве, Дембский, живший в то время под фамилией Рентшке, заведывал главным образом техническими работами—типографией, набором, гектографированием, к которому в то время весьма часто прибегали. Техника была его любимым детищем. После отъезда Куницкого ему предстояло взять на себя общее руководство.

На одной из сходов, в ресторане Берджицкой, где изо дня в день по вечерам происходили заседания «расширенного центра»—

членов и агентов Центрального Комитета партии, и где именно из-за этих ежедневных встреч нас принимали за «теплую компанию» многообещающих юношей, Куницкий объявил нам «официально» о своем выезде и о том, что по всем делам следует обращаться к Дембскому..

Присутствовавший на этой сходке Дембский обратился тут же ко мне с немало поразившим меня вопросом:

— По вечерам вы свободны?

— Да!

— А плясать умеете?..

Я был ошарашен..

— Умею, но..

— Умеете? Ну, и прекрасно! Завтра же попляшем с вами..

Он улыбался, и я был уверен, что все это шутка и шутка, надо сказать, совершенно не отвечающая моему тогдашнему восторженному настроению.. Говорить о танцах, когда речь идет о партийной работе.. Это казалось мне каким-то недопустимым кощунством..

Но это не была шутка.

— Знаете, где кондитерская Гината?—спросил он меня шепотом.

— Знаю..

— Я вас буду ждать там завтра, в 8 час. вечера.

Я был задет.. Шутка продолжалась слишком долго..

На следующий день в назначенное время Дембский уже меня дожидался и, как только я вошел, расплатился за выпитый чай и ушел вместе со мной.. Минуту спустя мы вошли в какой-то дом, поднялись на второй этаж и позвонили.. Нам тотчас же открыли дверь, и мы очутились в квартире, где человек тридцать молодежи—девушек и юношей—весело отплясывали любимый польский танец «оберек», хлопая каблуками, громко постукивая ногами об пол.

Пустился в пляс и Дембский, а вслед за ним и я, продолжая недоумевать и даже негодовать по поводу такой профанации и мох чувств, и дела.

Несколько времени спустя, славно и вдоволь накружившись в оберке, Дембский позвал меня..

— Пойдемте!

Мы прошли в соседнюю комнату, Дембский плотно закрыл за собою дверь, слегка отодвинул диван, приставленный к следую-

щей двери, и простучал пальцем явно условленный знак. Дверь открылась, и мы очутились в... типографии.

Посредине комнаты стоял небольшой типографский станок, обмотанный снизу толстой веревкой... Над ним, весь обливаясь потом, с большим типографским валиком в виде грузного цилиндра стоял Агафон Загурский, а сбоку добродушнейший литвин Выгановский, возле которого с одной стороны лежали груды влажной бумаги, а с другой—уже отпечатанные листы...

На минуту прерванная ими работа возобновилась. Вал грузно и шумно налег на наложенную на шрифт бумагу и усилиями Загурского прокатился с одного края до другого.

Только в этот момент я сообразил, в чем дело.. Танцы в соседнем помещении заглушали шум печатания; для этого они и устраивались... Типография находилась в квартире, смежной с той, в которой происходили танцы, и о ней знали лишь хозяйка и лица, причастные к типографии.. Все остальные просто обучались танцам, даже не подозревая, что происходит за стеной..

— Ловко!—поделился я своим восторгом с присутствовавшими.

— А теперь за работу! Снимайте сюртук..—скомандовал Дембский.—Янек (Выгановский) будет накладывать бумагу, вы будете снимать, а я с «Крулем» (псевдоним Загурского) будем работать валом..

Работа закипела... под звуки мазурки, отплясываемой в соседнем помещении.

Одно оставалось для меня непонятным: для какой цели станок снизу обмотан веревкой, вернее, даже канатом, в котором я с непривычки то и дело путался. Только месяц спустя это для меня разъяснилось. Квартиру, в которую мы с Дембским вошли и в которой плясали, снимала тов. Головня, квартиру же, занятую типографией, вход в которую был с другой лестницы, снимал Выгановский. Для посторонних это были совершенно чужие люди, незнакомые друг с другом... В случае тревоги—коммуникационная дверь из квартиры Выгановского в квартиру Головни открывалась, и типография перетаскивалась в соседнюю квартиру... Для этого перетаскивания и нужны были веревки..

Долго за полночь мы провели в тот раз за работой, бросив ее только тогда, когда звуки музыки умолкли, и веселившаяся соседству публига начала расходиться по домам.

Было поздно, и мы все трое остались ночевать у Выгановского..

Как же славно было в ту ночь на душе, и как тяжело вспоминать теперь о ней!

Выгановский, высланный административно в Сибирь, по возвращении из ссылки, вновь принялся, на этот раз в России, за революционную работу, был арестован и скончался в тюрьме от чахотки. Загурского постигла еще горшая судьба.. Арестованный в Варшаве на улице, он сошел с ума в 10-м павильоне Варшавской Цитадели.. Жандармы не преминули использовать его болезнь для выужения у него нужных им сведений. Заведомо ложно, имея уже убийц известного Судейкина в руках, они обвиняли Загурского в его убийстве.. Лишившись рассудка, в буквальном смысле слова не ведая, что творит, Загурский, для установления своей непричастности к этому делу, ссылался на свидетелей, называя их фамилии, которые могли подтвердить, что он в момент убийства Судейкина был в Варшаве, называл квартиры, в которых жил или ночевал... Каждое его показание, впоследствии, во время процесса «Пролетариата», оглашенное на суде, начиналось со слов: «Я не убийца Судейкина, в доказательство чего могу назвать лиц, которые могут удостоверить, что...», и т. д. И вслед за этим приводились фамилии мирового судьи Петра Васильевича Бардовского, впоследствии казненного по нашему делу, Выгановского, Крживоблоцкого и много других...

Все эти лица находились еще на свободе, жандармы их не арестовывали и лишь устанавливали за ними слежку, чтобы впоследствии схватить всех зараз в один день, а Загурского все уверяли, что все приведенные им доказательства недостаточны, что нужны еще другие, новые. Поиски доказательств сделались манией Загурского.. Он напрягал память и изо дня в день сообщал жандармам все новые и новые фамилии, губил все новых и новых лиц. Уцелели лишь те, о которых он не вспомнил..

Его душевное состояние с каждым днем ухудшалось.. По временам он искал общения с людьми, стучал к соседям по камере, но все его избегали, опасаясь, как бы он опять чего-нибудь не вспомнил. И эти опасения были вполне обоснованы.

Однажды привезли в 10-й павильон Болеслава Онуфрозича. Он был арестован лишь, как брат жены Плосского (тоже сидевшей в 10-м павильоне), в виду ожидавшегося приезда в Варшаву Александра III.. В таких случаях на время пребывания царя в Варшаве содержались в тюрьме сотни, если не тысячи ни в чем не повинных людей, которых после отъезда царя немедленно освобожда-

ли. В числе эти жертв царского посещения был и Онуфрович. Жандармы не имели ни малейшего представления о его принадлежности к партии. На его несчастье он был посажен в камере рядом с камерой Загурского. Последний, услышав шум по-соседству, простучал ему:

— Кто?

— Онуфрович,—последовал ответ..

Этого было достаточно, Загурский подбежал к двери, вызвал жандарма и потребовал:

— Ведите меня в канцелярию! Вспомнил еще одного!

И его повели, и Онуфрович поплатился за это соседство восьмилетней административной ссылкой в Восточную Сибирь.

Злейший предатель и провокатор не мог причинить столько вреда партии, сколько причинил этот несчастный умалишенный! Вскоре его помешательство приняло характер буйного. Его усмиряли, надевали на него рубашку для сумасшедших, били.. Он кричал, рыдал,—и его наказывали карцером... Но от этого ему только становилось все хуже и хуже.. и жандармы вынуждены были его выпустить из тюрьмы.. Он был отдан на поруки отцу, и несколько недель спустя порезал себе горло бритвой и в страшных муках скончался..

Кто бы в ту памятную ночь мог подумать, что он так кончит и так повредит тому делу, которому беззаветно до этого служил!

Другие типографии, в которых мне приходилось работать— в квартире Рентнике-Дембского и в квартире Славинского,—в отношении конспирации не были так удачно обставлены, как квартира Выгановского... Тем бóльшую, вследствие этого, конспиративность приходилось соблюдать при их посещении. О характере этой конспирации дает понятие следующий, не лишенный курьеза факт. Предстояло печатать пятый номер «Пролетариата»... Типография находилась у Славинского.. Для того, чтобы в случае провала типографии никто туда не заходил, было условлено, что хозяин типографии, если все обстоит благополучно, в ближайшей кондитерской, в номере «Варшавского Курьера» подчеркнет неизбежные в каждой газете слова: «дозволено цензурой».

Каждый из направляющихся в типографию, в свою очередь, в знак того, что он цел и невредим и что, следовательно, нет повода принимать меры предосторожности, тоже должен был подчеркнуть эти сакраментальные слова.

С Славинским я еще не был в то время знаком.

Когда я вошел в кондитерскую, «Курьер» был в руках какого-то юноши-блондина, маленького, невзрачного, щуплого.

Я подошел к нему и попросил по прочтении передать мне газету, а сам уселся за соседним столиком и не спускал с него глаз, так как не раз случалось, что кельнер, как только кто положит газету на стол, хватает ее и подносит другому посетителю.

Блондина, видимо, тяготило мое соседство. Он отвернулся ко мне спиной, положил газету на стол и что-то над ней проделал..

Я сообразил, что это, должно быть, хозяин типографии и что он ставит на газете условленный знак.

Я вторично подошел к нему, протянул руку за газетой с вопросом: «уже можно?» и, почти не скрываясь, провел карандашом черту под уже подчеркнутыми словами: «дозволено цензурой».

Эффект получился для меня совершенно неожиданный. Я проделал явно всю эту процедуру в расчете на то, что смогу следом за хозяином пойти в типографию и мне не придется разыскивать совершенно неизвестную мне до этого квартиру... Вместо этого предполагаемый хозяин выскочил, как ошпаренный, из кондитерской, окинув меня на прощание подозрительным взглядом.

Впоследствии оказалось, что Славинский, а это был он,—не предупрежденный Дембским о том, что в типографию должен прийти незнакомый ему человек, принял меня за.. «шпика»..

Он знал, что в кондитерскую должен прийти и Дембский, испугался, что тот может попасться, и с риском (в его представлении это был риск) для себя зашагал по тротуару перед кондитерской... Вскоре появился Дембский. Недоразумение разъяснилось, и мы отправились в типографию—небольшую комнату на чердаке. откуда мы уже не выходили четыре дня под-ряд, пока весь номер не был напечатан, питаясь за это время только сухим хлебом, колбасой и чаем..

Но зато номер «Пролетариата», отпечатанный в 3-х тысячах экземпляров, вышел на славу!

7.

Работа в типографии—и тяжелая, утомительная, и механическая, не дававшая никакой пищи ни уму, ни сердцу,—несмотря на все, была весьма привлекательной и своей опасностью, и всеми теми приемами, какие приходилось применять для того, чтобы избегнуть этой опасности. Малейшая неосторожность,—и погибает и человек, и вся уже исполненная им работа, и добытая и оборудованная иной раз с риском для жизни типография. Малейшая оплошность или забывчивость,—и люди работают целый день без пищи, без табаку... Выходить из типографии в течение дня за покупками—даже самая мысль об этом казалась кощунственной... Малейшая тревога,—и человек готовится ко всему.

Однажды, в самый разгар работы на квартире у Славинского—а в разгаре работы об опасности совершенно забываешь,—неожиданно на лестнице раздались тяжелые звуки шагов.. Мгновенно в типографии все замерло... Типографский вал застыл на том месте, где его застала тревога... Жутко... А шаги все ближе и ближе... В чердачном помещении других квартир нет... Это к нам идут... За нами! *Finita la comedia!*

Молча, без слов, мы готовимся к встрече непрошенных гостей... Вынутые из карманов бумаги уже лежат на типографском станке... Стук в двери, малейшая попытка их взломать—и они будут уничтожены... Три револьвера-бульдога так и манят к себе стальным блеском... Без боя не отдадим типографии!..

— Тьфу! Не сюда! Не скажут путем! Тут не семнадцатый номер, а одиннадцатый!

Отлегло... Ложная тревога. Настроение сразу меняется.. Напряженное состояние сменяется веселым, шутливым.. Дембский улыбается и без слов подмигивает нам.. Несчастные, взобравшиеся с какой-то ношей на пятый этаж, начинают спускаться вниз.. Еще мигута—и работа возобновляется... до следующего приключения..

Более интересна, но не окружена такими аксессуарами, работа по набору. Единственная сопряженная с опасностью и требующая конспиративности работа.—это переноска шрифта. Набранный уже шрифт, стянутый проволокой, мы переносили в боковом кармане, спе-

циально для этого приспособленном одним из товарищей-портных.. Но дьявольски трудно было переносить рассыпанный шрифт.. Nabьешь им, бывало, все карманы.. Но этого количества весьма недостаточно, и переносишь добавочную порцию в руках в виде пакета или свертка, ни величиной, ни формой не обращающего на себя внимания.

Пятый номер «Пролетариата» набирался в пасхальные дни. Применяясь к этому, Дембский весьма искусно соорудил пачку шрифта в виде пасхального кулича.. Этот свинцовый кулич так оттянул мне руки, что в течение двух дней я не мог отделаться от дрожжи в них.. Да, вдобавок, я мог легко влопаться с этой ношей. На одной из людных улиц я нечаянно задел этой воздушной ношей встречного прохожего. Как он воспринял это прикосновение,—не знаю, но я, без того с трудом удерживая в руке эту тяжелую пошу, чуть было не выронил ее..

По сравнению с опасными приключениями в связи с работой в типографии это были сущие пустяки. Но работа тут была сложнее. Принесенный шрифт надо было раскладывать по импровизированным кассам. Профессиональный наборщик ощупью определяет, какая буква у него в руках,—мы же должны были тщательно разглядывать каждую букву, а иной раз для определения делать оттиск на бумаге.. А сколько раз, когда эта работа уже благополучно доведена до конца, в кассах оказывались совсем пустые клетки..

— Совсем нет буквы т.

— Должно быть, спутали с п.

Начинается проверка.. Нет..

— Как же быть?

— Ставьте пока п.

И ставишь.. А после, при вытаскивании шилом этой буквы, несколько строк набора рассыпаются..

А при увязке шрифта.. Намочишь шрифт, начинаешь стягивать проволокой.. Трах.. И вся работа пропала, и начинай с начала этот сизифов труда..

С течением времени выучились, даже пытались подражать ритмическим жестам подлинных наборщиков, но вначале это был какой-то ад крошечный.. А все же набрали пятый номер «Пролетариата»—в 16 страниц—и несколько листов Млота: «Кто чем живет», так и не изданных и очутившихся прежде появления в свет в руках жандармов.

Эту работу так же, как и другие, мне пришлось сразу оборвать.

Получилась условленная телеграмма от Куницкого из Бреславля. Он привез транспорт книг и брошюр... Надо было его принять от него и перевезти через границу. У меня были связи в Келецкой губернии. Предстояло транспорт перевезти из Бреславля в Краков, а затем, при содействии контрабандистов, под моим личным наблюдением, препроводит по назначению. Получив от организации австрийский паспорт, я отправился в Бреславль.

Куницкого я не застал в городе... Как раз в это время германская полиция перехватила транспорт книг, предназначенных для России, и арестовала т. Дейча... В городе было небезопасно, и Куницкий, по совету местных немецких социал-демократов, поселился где-то под городом на даче. Извещенный телеграммой о моем приезде, он телеграммой же сообщил о дне и часе своего возвращения в Бреславль и просил встретить его на вокзале...

Поезд, с которым он приехал, был дачный, пассажиров было немного, я внимательно следил за высыпающими на перрон людьми, но Куницкого среди них не оказалось... Я обошел весь поезд раз, другой, но безрезультатно...

Недоумевая, что случилось, не зная, что делать, я направился уже было к выходу, как ко мне подошел какой-то человек, смахивающий на приказчика или коммивояжера, светло-рыжий, в золотом пенсне, весьма изящно одетый...

— Кажется, г. Кон?

Я был по чужому паспорту...

— Нет! Обознались, должно быть!

— Да нет же!— настаивал таинственный незнакомец, насмешливо улыбаясь.

Только по этой улыбке я узнал его. Это был Куницкий, измененный до неузнаваемости...

— «Черный»!— воскликнул я невольно...

— Теперь уже не «Черный», а «Рыжий», а еще лучше— «Григорий».

Так он до самого ареста остался «Григорием».

Мы зашли ко мне в гостиницу и обменялись известиями. Оказалось, что книги, упакованные в двух чемоданах, он оставил на хранение на вокзале, и получение их не представит никаких затруднений.

Зря тратить время не было никакой надобности, и в этот же день он уехал прямым путем в Варшаву, а я отправился в Краков.

Келецкие крестьяне-контрабандисты сразу сообразили, с какого рода кладью им придется иметь дело, и заломили огромную цену.

— С шелком попадешься—взяткой отделаешься, а тут, чего доброго, на казенную квартиру попадешься..

— Зачем же попадаться..

— Это уж, как бог...—благочестиво возразил старший из контрабандистов.

Мое желание сопровождать транспорт им еще более не понравилось.

— Тут надо уметь... Малейшая неосторожность,—и себя влопаете, и нас провалите.

Но я настаивал на своем. У нас уже были случаи, что кладь, благополучно перевезенная через границу, терялась уже по эту сторону границы только из-за трусости контрабандистов держать ее у себя в избе до приезда за ней человека из Варшавы.

— А вы разве беспаспортных через границу никогда не переводили?.. Они ведь тоже были неопытны..

— Так то беспаспортные..

— Не все ли равно?

Долго я бился с ними по этому поводу, но, получив за меня отдельную плату, они сдались.

Ночью на обыкновенном крестьянском возу, наполненном соломой, в которой утонули чемоданы с книгами, мы выехали втроем из Кракова, направляясь к пограничной станции Шице, находящейся всего на расстоянии трех миль от Кракова... Контрабандисты набояжно снимали шапки перед каждым распятием, часовенкой и иконой, явно наблюдая, проделываю ли и я то же самое. Я, конечно, мгновенно преобразился в благочестивого, набояжного католика.. Не доезжая границы, контрабандисты свернули с дороги в небольшую рощу, выпрягли лошадей, стащили с воза чемоданы, обмотали их веревками, попробовали, как их примостить к спине, пожаловались на чрезмерную тяжесть. и затем спокойно уселись и начали закусывать.

Вскоре неподалеку раздался еле слышный, словно сдавленный свист.. Контрабандисты ответили такими же свистом.

Ночь была темная.. Я на расстоянии двух шагов не отличил бы человека от дерева.. Контрабандисты же, как совы, видели все в темноте и, секунду спустя, поднялись с места и пошли навстречу свистевшему...

— Все хорошо! Об'ездчики караулят возле самой таможи...—сообщил пришедший.

— Ну, с богом!—скомандовал старший из контрабандистов.

Все перекрестились.. Кладь в один момент очутилась на спинах двух более молодых крестьян. Старший открыл шествие, следом за ним я, а затем два навьюченных контрабандиста.. В мягком мху, словно в бархатном ковре, тонул малейший шорох. Подвигались мы вперед довольно медленно, останавливаясь без движения, словно застывая, при малейшем звуке.. По временам издали доносился лай собак, бряцание сабель или ружей об'ездчиков. Мы пережидали, пока звуки стихнут, а затем беззвучно, как тени, подвигались дальше.. Дорога становилась труднее.. Лес редел... Мох исчез... Под ногами появились неровные кочки.. Еще несколько минут, и мы все так же беззвучно подошли к реке и, не останавливаясь, спустились в нее.. Было мелко.. Вода до пояса... Но ее хлюпанье могло нас выдать... Контрабандисты, до тех пор совершенно спокойные, явно волновались... Только старик, как фатум, шагал впереди, равнодушный ко всему.

Вдруг издали донеслось до нас грозное:

— Стой! Кто идет?

Мы остановились, как вкопанные.. Об'ездчик, повидимому, пришел к заключению, что ему что-то померещилось, и, не слыша ответа, удалился...

Старик, насторожившись, слушал... Секунды казались часами.. Минут пять спустя, мы двинулись дальше и начали карабкаться на берег. Это самый опасный момент! Обыкновенно пограничная стража, проследив контрабандистов, на этом, уже русском, берегу речки их ловит. На этот раз дело кончилось благополучно. Выбравшись на берег, мы быстро, чуть не бегом, прошли в лес... Там уже нас дожидался какой-то крестьянин с возом, и мы, мокрые, иззябшие, покатали с драгоценной кладью по тряской лесной дороге. Теперь мы уже были в безопасности.

8.

Окунувшись с головой в бурные волны разнообразной партийной работы, одновременно и попеременно то работая в типографии, то набирая издания, то ведя агитацию среди рабочих, то становясь

контрабандистом, я, словно в каком-то радостном сне, работал до изнеможения, удовлетворенный, чуть ли не опьяненный счастьем. Работа шла успешно... Сонное царство, взбрызнутое живой революционной водой, прсыпалось, оживало.

И только от времени до времени в это счастливое, радостное настроение врывалось резким диссонансом известие об аресте товарищей, падавших жертвой провокации,—не шпионства, а именно провокации... В начале восьмидесятых годов появились первые ее ростки, взрощенные умелой рукой «отца русской провокации»—того самого Судейкина, в убийстве которого обвиняли несчастного Загурского.

Жертвой провокации пали Генрих Дулемба, выданный провокатором Мелле, Мечислав Маньковский и многие другие.. Судейкинская система: «иметь в их комитете свой комитет!» воплощалась в жизнь.

Из Лодзи, Эгержа, Белостока мы получали систематические известия о единичных провалах; явно не случайных.. Но это были только единичные провалы... В Варшаве дело обстояло хуже... Здесь систематически арестовывались лица, не принимавшие участия непосредственно в партийной работе и дававшие лишь свои адреса для явок и писем. Сначала мы остановились на предположении; что это результат деятельности «черных кабинетов», перлюстрации писем.. Но нет!.. Мы знали, как, не вскрывая конверта, а лишь слегка отгибая края, перлюстраторы на продетый внутрь тонкий валик наворачивают письмо и вытаскивают его из конверта... И мы приняли свои меры.. Пристегивали письмо тонкой проволокой к конверту, а продетые через конверт концы проволоки плотно пригибали и заклеивали почтовой маркой. Попытка накрутить на валик таким образом прикрепленное письмо неминуемо влечет за собой разрывание и письма, и конверта... Продолжая по-прежнему получать письма ненарушенными, мы убедились в том, что перлюстрация тут не при чем.. В этом нас убеждало еще одно обстоятельство. Адреса и явки для Польши и для заграницы не вызывали ареста адресатов... Попадались лишь те лица, адрес которых употреблялся для сношений с Россией..

Было ясно, что именно там, а не у нас, что-то неблагополучно. Сначала мы относились хладнокровно и терпимо к этим провалам... Но по мере того, как аресты начали принимать характер систематический, как проваливались один за другим все новые и новые люди, иной раз даже не знавшие, для какой цели дают свой адрес.

и часто подозревавшие, что дают его для переписки... с невестой,— началось брожение.

Мы приставали к Куницкому и Дембскому с требованиями принять меры, даже съездить в Россию выяснить этот вопрос и обезопасить организацию...

Но они не проявляли в этом вопросе должной энергии, отвечали вяло, неохотно...

В их поведении было что-то для нас совершенно непонятное...

Мы волновались все более и более и в результате добились только весьма таинственного заявления:

— Не волнуйтесь! Вскоре все прекратится. Меры приняты. и вы узнаете обо всем.

И мы действительно узнали... Узнали о том, что в самом центре тогдашней русской организации, в «Исполнительном Комитете Народной Воли», оказался провокатор—Сергей Дегаев,—революционер, перебросившийся на сторону правительства, ближайший сотрудник Судейкина...

О Дегаеве уже столько писалось в русской журналистике, что было бы излишним что-либо здесь еще прибавлять к этому, и я касалась лишь дегаевщины постольку, поскольку она отразилась на нас в Польше.

Как известно, уличенный в измене, раскалявшийся и принесший повинную, Дегаев вынужден был согласиться оказать содействие партии в убийстве Судейкина.

За неделю до этого убийства, в отсутствие Куницкого, уехавшего в Россию, приехал из Петербурга в Варшаву и явился на квартиру Выгановского новый на варшавском горизонте—по крайней мере, за время моей принадлежности к «Пролетариату»—человек, резко своей наружностью и манерами отличавшийся от других. Это был Фаддей Рехневский—«Оскар Танский», как он тогда же отрекомендовался.

Белобрысый, круглолицый, немножко сутулый, но сильный и мускулистый, он поражал своей интеллигентностью, сдержанностью, немецкой флегматичностью и немецкой же систематичностью не только в деле, но даже и в разговоре.

Моложе Куницкого, Яновича и Дембского, он умел заставить себя слушать и считаться со своим мнением.

Его лицо, всегда серьезное, в исключительные моменты озарялось улыбкой, подчас даже лукавой, когда он сам готовил или слышал, что кто-нибудь готовит какой-нибудь ловкий трюк.

И на этот раз, после продолжительного серьезного разговора, он с лукавой улыбкой сообщил:

— Надо подготовиться.. На-днях будет покушение на Судейкина... Я извещу вас об этом телеграммой... Вся суть будет в подписи... Если будет удача, я подпишу телеграмму фамилией, начинающейся с буквы У, а если неудача—с буквы Н...

Все слушали с напряженным вниманием..

— А вы наладьте типографию и шрифт и, как только получите телеграмму, жарьте воззвание с извещением. Вот ловко будет, если нам удастся раньше выпустить воззвание, чем «Курьер Варшавский» успеет сообщить об этом событии..

Его идея показалась всем блестящей, и мы твердо решили не позволить «Курьеру» опередить нас в этом деле..

Для Рехневского, убедившегося из нашего отношения к делу, что все возможное будет сделано, вопрос был исчерпан. Он перешел было, к другим вопросам, но мы заставили его вернуться к вопросу, так волновавшему нас,—о Судейкине и Дегаеве... Он начал рассказывать сухо, просто, без прикрас, и именно эта сухость и простота рассказа о том «мире мерзости и запустения», по выражению тогдашнего лидера «Нар. Воли» Л. Тихомирова, сделавшегося впоследствии ренегатом, помилованного и редактировавшего целый ряд реакционных изданий, производила потрясающее впечатление... Перед нами развернулась картина именно мерзости... Мерзок был Судейкин, исключительно ради карьеры готовый предать на заклятие революционерам и Плеве, в то время директора департамента полиции, и министра внутренних дел Дмитрия Толстого, и составивший целую «программу» покушений.. Сначала его заветной мечтой был пост министра полиции. Но Плеве не давал ему ходу, и поэтому для достижения цели он решил при посредстве Дегаева организовать покушение на самого себя, с тем условием, чтобы его только слегка ранили в ногу... Это покушение должно было, по его замыслу, быть предлогом для его выхода в отставку. Недолголюбивавший его Плеве не стал бы упрямивать его остаться на посту, и он, не возбуждая ни в ком подозрения, мог бы отстраниться от дел. Тогда Дегаев должен употребить все средства к тому, чтобы революционеры организовали целый ряд покушений, а прежде всего на Плеве и Толстого. Правительство, убедившись воочию, что, как только не стало Судейкина, возобновились террористические акты, несомненно, призовет его опять на службу и поневоле согласится на все условия, какие он тогда поставит..

Мерзок был Дегаев, ради спасения своей шкуры согласившийся играть подлую роль не только шпиона, но и провокатора, вовлекавший людей в кружки с исключительной целью предать их в руки полиции, пойманный полицией—выдававший революционеров, а уличенный революционерами—без колебаний предавший самого Судейкина...

9.

Я часто впоследствии вспоминал ночь, проведенную тогда с Рехневским, и его рассказы об этих кошмарных явлениях. Я тогда в первый раз в жизни услышал, что через несколько дней должен быть убит человек, и я не был потрясен. Мысль об этом предстоящем убийстве меня не взволновала... После всего услышанного мною этот негодяй, по трупам и крови взбирающийся на министерский стул, как бы перестал быть для меня человеческим существом..

На следующий день, рано утром, Рехневский уехал с курьерским поездом обратно в Петербург и немедленно по приезде туда держал выпускной государственный экзамен по юридическому факультету. Это обстоятельство имело для него впоследствии огромное значение. Один из предателей, Вацлав Гандельсман, поражавший в партийной работе своим «благородством», пустой человек, неизвестно зачем и почему принявший участие в революционном движении, на допросе показал, что Рехневский был в эти дни в Варшаве и известил о предстоявшем убийстве Судейкина. Рехневский опроверг документально это показание. Он представил удостоверение ректора, что он в указанный Гандельсманом день держал государственный экзамен.

— Как вы это устроили?—спросил я его уже после суда.

— Довольно просто... Это собственно сделалось без меня, само собою.. Список экзаменующихся был разделен в алфавитном порядке на 5 очередей. Я должен был экзаменоваться в третьей очереди, а экзаменовался в пятой. А так как на списке было отмечено, что третья очередь экзаменовалась в тот день, когда я был в Варшаве, то ректор и не подозревал, что я мог не держать тогда экзамена. Я и воспользовался этим.

Конечно, несмотря на такие документальные данные, суд признал факт пребывания Рехневского в этот день в Варшаве доказанным...

Дня через три или четыре после этого была получена из Питера телеграмма за подписью: «Унковский».

Суд совершился.. Один из столпов самодержавия рухнул...

Мы принялись за печатание воззвания, но два часа спустя приостановили эту работу. Отправленная Рехневским телеграмма была нам доставлена с большим замедлением. «Курьер» успел раньше нас оповестить о событии..

Всемогущий Судейкин был убит, но что с Дегаевым?—вот вопрос, который волновал нас всех.

Дня через три, через четыре само правительство оповестило весь мир о судьбе Дегаева.. По всей необъятной России, в городах и деревнях, на вокзалах и на пароходных пристанях были расклеены обращения правительства к населению с обещанием награды в 10.000 р. за поимку Дегаева и 5.000 р. за указания, могущие привести к его поимке.

Из этого следовало, что он ускользнул из рук жандармов.. Впоследствии мы узнали, что его увез из Петербурга Куницкий..

— Это был самый тяжелый момент в моей жизни!—рассказывал впоследствии Куницкий.—Я ожидал Дегаева в условленном месте.. Он вошел, чуть не вбежал, совершенно растерянный, взволнованный. Все уже заранее было подготовлено для дороги, и мы немедленно отправились на вокзал и взяли билет в Либаву, где все было подготовлено Рехневским для дальнейшей отправки Дегаева на пароходе за границу. Я все время нащупывал в кармане заряженный револьвер. Надеяться на то, что Дегаев, в случае ареста, опять не выдаст всех и все, что знал, не приходилось.. Выбора не было.. В случае появления жандармов мне предстояло убить сначала его, а затем себя. Дегаев знал о грозившей ему опасности.. Мы не разговаривали друг с другом.. О чем было говорить с ним? Малейший шорох вызывал в нем дрожь.. И эта мука продолжалась несколько часов, пока я его не сдал в Либаве с рук на руки тем, кто должен был его сопровождать в дальнейшем пути. Со следующим поездом я отправился обратно в Петербург. Когда поезд подъезжал к вокзалу, сразу можно было заметить, что убийство Судейкина было обнаружено. Вся полиция была поставлена на ноги. Шпики шныряли во все стороны, внимательно осматривая каждого отъезжающего и приезжающего.. Запоздали!—улыбаясь, кончил Куницкий.

Да, запоздали! Дегаев был благополучно доставлен за границу, здесь вторично допрошен и в показаниях назвал тысячи лиц,

выданных им, частью уже арестованных, частью уцелевших только благодаря тому, что убившие Судейкина Конашевич и Стародворский ухитрились уже после убийства унести из квартиры, в которой он был убит, списки лиц, указанных Дегаевым, с точным обозначением, кто и какую роль играл в партии.

С этого момента Дегаев исчез, словно в воду канул. Носились слухи, то будто он в Америке, то, что он учительствует или даже профессорствует в Австралии... Несколько лет тому назад распространилось известие о его смерти... Но этим никто не интересовался, и это известие так и осталось никем не проверенным... И только недавно некоторые газеты сообщили о том, что какой-то анархист убил его теперь в Америке..

Убийство Судейкина и ликвидация дегаевщины происходили далеко за пределами Польши и к нам имели лишь косвенное отношение. Но... то было время жестокой реакции и расправы с революционерами—время министерства Дмитрия Толстого и заведывания департаментом полиции Плеве. В Петербурге в то время создавалась система, которая, как полиция, оплела всю Россию, а в особенности Польшу, исстари славившуюся, как питомник будущих укротителей России.. Здесь вырос и окреп знаменитый Тренов, в которого впоследствии стреляла Вера Засулич, на Польше управлялся знаменитый шеф жандармов—Оржевский, здесь начал свою карьеру знаменитейший из знаменитейших—Плеве, а впоследствии, уже в царствование Николая II—всевозможные Клейгельсы, бароны Нолькены, Вали и пр., и пр. В описываемое время подвизались в Варшаве и во всем Царстве Польском генерал-губернатор Гурко и попечитель учебного округа Апухтин... Они задавали тон, и они же при деятельном содействии начальника жандармского округа Брока. «давали ход» всем тем, кто ради личной карьеры готов был пожертвовать и совестью, и честью, не считаться ни с дружбой, ни с родством, ни с велениями закона, ни со справедливостью, ни даже с интересами государства и его престижа, лишь бы угодить начальству и подняться выше по ступеням чиновничьей лестницы. В этом отношении выделялись в чиновничьем и военном мире чины жандармского ведомства и прокурорского надзора. Слава петербургского Судейкина не давала покоя товарищу прокурора варшавского окружного суда, специалисту по политическим делам Янкулю и жандармским подполковникам Секеринскому,—впоследствии переведенному на высший пост в Петербург,—и Белановскому... Они были в Варшаве первыми инициаторами системы провокации..

По их инициативе и почину втерся в организацию резчик по дереву Барановский, изготовивший с их ведома и согласия клише заглавия для № 5 «Пролетариата», способствовавший всеми возможными средствами террористическим актам; они развратили и сделали своими агентами многих рабочих в Варшаве, в Лодзи и Эгерже. Но эти приемы не приводили к тем результатам, о которых они мечтали,—к результатам, которые могли бы обратить на них благосклонное внимание высшего начальства. Их заветной мечтой было раскрыть крупный заговор, найти его разветвление по всей России, изобразить яркими красками опасность, какую этот заговор представляет для всего государства, выставить себя в роли спасителей—и сделать крупную карьеру. Осуществление этого грандиозного плана было почти недостижимо. Пентр политической борьбы был в Петербурге, работа в Польше, по необходимости, сводилась к устной и печатной пропаганде и агитации среди рабочих, почвы для такого рода заговора не было и быть не могло.. Но это не смущало этих господ. Не достигнув цели при помощи провокации, Янкулю, Секеринский и Белановский, главным же образом, первые два, пустили в ход другой прием. Начались повальные обыски и аресты, главным образом, среди рабочих, обвинения в небывалых преступлениях. Людей запугивали, стращали, добивались нужных им показаний, а когда и это не достигало цели, просто заставляли подписывать незаполненные листы бумаги, на которых уже без допрашиваемого вносились в виде их показаний плоды жандармской и прокурорской фантазии. Многие протоколы напоминали страницы бульварных французских криминальных романов.. Этот подлог совершался до того грубо, что покойный Владимир Спасович впоследствии на суде пред'явил целый ряд «протоколов», недописанных до конца. Последние строки «протокола» находились на одной стороне, а подпись допрашиваемого внизу на другой... Эти приемы приводили рабочих в ужас и трепет.: Помню одного старика-рабочего, явившегося на собрание на следующий день после того, как его освободили... Он был совершенно пришиблен.—«Без вины делают человека подлецом!»—подвел он итог скорбной повести о том, как его допрашивали..

Таких пришибленных были сотни, и эти сотни наводили панику на рабочую массу. Фамилии Янкулю и Секеринского становились каким-то пугалом.

— Этому надо положить предел,—мрачно заявил на одном из собраний Куницкий...

«Надо!» Это мы все сознавали..

«Надо».. «Необходимо».. Но как?.. «Собакам—собачья смерть» решали более горячие и пылкие. Но это не решало вопроса... Независимо от того, что мы, польские революционеры, вполне разделяли взгляд поэта-революционера Мицкевича: «у царя псарня большая... Что из того, что один пес сдохнет»,—ведь этим вопрос не решался.. Составленные протоколы и после убийства Янкулио и Секеринского сохранили бы свою гибельную для сотни людей силу... Единственным спасением было уничтожение этих протоколов... Это было не легко.. Мы совещались долго... Мучительные совещания! Сотни людей ждали от нас спасения не только их, но их честного имени, а мы,—те, на которых они возлагали свои надежды, не в состоянии были помочь им...

На одном из заседаний решение было найдено... Решение фантастическое, но после взрыва в Зимнем дворце, совершенного Халтуриным, переносившим в карманах динамит во дворец и прятавшим его под постелью, на которой он спал,—разве можно было провести грань между возможным и невозможным, между миром фантазии и миром реальным!

Принятое решение было очень простое: взорвать камеру товарища прокурора... Эта камера находилась на углу Красинской площади и Длугой ул.,—в одном из самых оживленных мест в городе.. Доступ туда был не из легких... Взрывчатых веществ у нас тоже не было.

Но это нас не остановило.

Мы принялись за изготовление какого-то особенного взрывчатого вещества—пангластита—по рецепту, составленному еще казненным по делу 1 марта 1881 г. Кибальчицем...

Круглые невежды в этом деле, мы во время изготовления чуть не поплатились жизнью за это невежество. При вливании одной жидкости в другую, совершенно неожиданно для нас последовал взрыв.. Раздался оглушительный шум, штукатурка с потолка обвалилась, стекла в окнах потрескались... Никто из нас не пострадал.. Но.. на лестнице послышался топот шагов встревоженных соседей...

— Выйдите к ним! Успокойте их!—спокойным голосом отдал Куницкий распоряжение хозяину квартиры и главному нашему «пиротехнику»—Ставискому, студенту естественного факультета варшавского университета...

Это поручение было мгновенно исполнено.

«...ного! Пустяки! Химический опыт! Реторта взорвалась!»— доносились до нас бросаемые Стависким соседям слова...

— А вы бы поосторожнее,—отчитывал его кто-то...

— И у профессора это может случиться!—огрызнулся Ставиский... Волнение улеглось... Опасность миновала.

В этот момент в высшей степени характерно было поведение двух людей, принимавших участие в изготовлении взрывчатых веществ: Ставиского и Пацановского.

Ставиский сохранил полное хладнокровие, Пацановский, перепуганный на смерть, забился в угол, побледнел, как мел, и дрожал всем телом... Если бы на основании этого судить об обоих, то можно было относительно одного быть спокойным, а относительно другого питать большие опасения.. На деле же, когда оба попали в руки жандармов, оба перетрусили и оба выдали... Знавший многое, Пацановский выдал больше, весьма мало знавший Ставиский выдавал меньше, но оба «чистосердечно сознались», оба общили не только все, что знали, но и то, чего не знали.

Кто-то обратил внимание Куницкого на поведение Пацановского в этот момент, но он резонно возразил:

— Это физиологический страх, совершенно не зависящий от человека и не имеющий ничего общего с его нравственностью.

Впоследствии оказалось, что Пацановский не только «физиологический трус»... Исключительно благодаря его показаниям был казнен молодой двадцатилетний рабочий Ян Петрусинский...

Но в то время никто не подозревал даже возможности предательства с его стороны, и он продолжал по-прежнему принимать участие в партийной работе и, в частности,—в изготовлении злополучного «панкластита»...

10.

Работа туго подвигалась вперед... Днем мы работали, а по ночам втроем—Куницкий, Ставиский и я, изображая ночных кутил, подходили к зданию камеры товарища прокурора, ощупывали ржавую решетку в окнах подполья, выходящих на улицу, щупали, можно ли будет туда проникнуть... Дело оказалось легче, чем мы думали. Изъеденная ржавчиной решетка от нажима подалась и треснула. Отогнуть шест не представляло ни малейшего затрудне-

ния, и я, не долго думая, проник туда, в подполье. Осмотрев его внимательно, я выбрался обратно... Куницкий и Славинский, притворяясь подвыпившими, закрывали окно от взоров случайных прохожих.

Первый успех нас приободрил. Мы налегли на работу по изготовлению панкластита и вскоре назначили день для испытания приготовленного взрывчатого вещества...

В Варшаве, до оккупации ее немцами во время мировой войны, на одной из площадей гордо возвышался памятник в честь «поляков, павших за верность своему (!) монарху»—памятник семи изменникам родины... Этот памятник—одно из ярких явлений глумления царизма над Польшей, предмет ненависти всех в Варшаве—я и предлагал сделать объектом при испытании панкластита. Мой проект в первый момент вызвал всеобщий восторг, но... только в первый момент. Гнусный памятник взлетел бы на воздух—это верно, но с этого момента жандармы были бы на чеку, и о взрыве камеры прокурора нельзя было бы и думать... Проект был отвергнут. Для испытания было избрано глухое место за новой Прагой. Все предосторожности были соблюдены... Ночью по одиночке мы пробирались в назначенное место... Конспирация была соблюдена полностью каждым из нас, в том числе и.. Барановским, провокаторм, присутствовавшим при этих опытах...

Само собою разумеется, что при таких условиях все наши планы были обречены на гибель и имели значение только для карьеры Янкулю и Секеринского. Наконец-то они добились цели... Взрывчатые вещества, организованное покушение на их osoby... На этом именно они рассчитывали выехать, совершенно не считаясь с тем, что за эту их систему делать карьеру их собственные агенты платились жизнью...

Один из таких агентов, Франц Гельшер, родной брат осужденного впоследствии по делу «Пролетариата» Яна Гельшера, был убит уже в то время, когда доля ответственности за дела партии падала на меня. До этого, занятый делами в своей области, я только *post factum* узнавал о случившемся... Известие о том, что Ф. Гельшер, член Згорьжского комитета,—пророкатор, и что организация, проследившая его, настаивает на его убийстве, произвело на меня, и не только на меня одного, потрясающее впечатление.

— Я предлагаю,—заявил на собрании «Конрад» (Янович),—чтобы товарищи, выступающие с инициативой террористических актов, непременно сами же принимали участие в них...

Я немедленно присоединился к его предложению... Но большинством этот принцип был отвергнут. Инициатором обыкновенно являлся руководитель всей партийной работы в данной местности, часто просто физически неспособный на совершение террористического акта. Заставить его принять участие в таком акте значило бы и расстроить всю работу, и рисковать успехом предприятия, и, наконец, рисковать безопасностью других, принимающих участие в этом акте вместе с таким неумелым и неподходящим сотоварищем.

Предложение было отвергнуто... Было постановлено лишь до «издания приговора» проверять самым точным образом все уличающие заподозренного данные.

В случае с Гельшером докладчиком на собрании был Станислав Пацановский... Он передал со слов членов Згержского комитета, как они, заподозрив Гельшера, следили за ним и установили, что он в определенные дни и часы посещает жандармское управление...

В силу принятого решения мы этим докладом Пацановского не удовлетворились. Из Згержа был вызван Поплавский, впоследствии осужденный по делу «Пролетариата». Он привел целую массу новых уличающих Гельшера данных, в частности, со слов родного брата Франца Гельшера—Яна... Факт провокации был установлен, и участь Гельшера была решена! 6 июня (н. ст.) 1884 г. он был убит выстрелом из револьвера по приговору партии. Два дня спустя было во всех промышленных центрах Царства Польского распространено следующее воззвание Центрального Комитета партии:

«С неимоверным отвращением, ибо мы еще не привыкли так, как правительство, проливать человеческую кровь,—мы были вынуждены запачкать свои руки кровью одного из бывших наших товарищей—Франца Гельшера, члена Згержской организации.. Нам предстояло решиться: или потерять более десяти товарищей, или обезвредить Гельшера... Кто выступает на борьбу с угнетателями рабочего класса, тот вполне сознает, что ему на каждом шагу угрожает цитадель или Сибирь. Если кто не чувствует в себе достаточно сил, чтобы бороться на жизнь и на смерть, пусть устранился от дела.. Лучше, чтобы нас было меньше, чем чтобы между нами были предатели! Пусть же все помнят, что всякого, кто по каким бы то ни было побуждениям будет предавать, из страха или из-за личной корысти, на свободе или в тюрьме,—безусловно ожидает смерть».

Это воззвание—продукт коллективного творчества—самым точным образом отражало в себе настроение и взгляды всех тогдашних руководителей партии.

Но вместе с тем мы все сознавали, что наши удары обрушатся на «слепые мечи», что направляющая эти «мечи» «рука» находится далеко от Варшавы, в Петербурге, что война с режимом может вестись только там, в центре. Это сознание постепенно привело к мысли о необходимости органически связаться с русскими революционерами для борьбы с самодержавием...

Объединиться с русскими революционерами... Русские не в состоянии понять значение этих слов для польских революционеров... «Объединиться с москалями»... Шутка ли?

Мы ясно сознавали, как это объединение будет использовано теми, кто фактически объединился с царской Россией и пользовался ее силами для подавления рабочего класса.

Мы знали, что перед темными массами мы будем выставлены как изменники «польского дела»—sprawy polskiey, что эта связь с москалями будет использована для того, чтобы отвлечь от нас симпатии масс.

Это не были преувеличенные опасения... Тридцать лет спустя польские национал-демократы обвиняли основателя социал-демократической партии в Галиции Игнатия Дашинского в том, что он подкуплен «пруссакими», на том основании, что германская социал-демократия, по инициативе Августа Бебеля, ссудила галицийской социал-демократии несколько тысяч марок на избирательную кампанию.

Es ist eine alte Geschichte, doch bléibt sié immèr néu!

Старый, но не стареющий прием. Надо сознаться, что и во многих из нас старые традиции ненависти к «москалю» еще не были изжиты... Мы не только чтили, но обожали отдельных русских революционеров, но когда на очередь дня был поставлен вопрос об альянсе между «подпольной Польшей» и «подпольной Россией», многие из нас умом понимали необходимость этого альянса, но сердцем сжиться с этой мыслью не могли...

Мы тогда переживали, повидимому, то самое чувство, какое в 1905 г. переживал пользующийся ныне всемирной известностью начальник Польской Речи Посполитой, Иосиф Пилсудский.

Когда ему, тогдашнему представителю боевой организации Польской Социалистической Партии (П. П. С.), мы предложили войти по вопросу о выступлении с оружием в руках в военную орга-

низацию, в состав которой входили русские солдаты и офицеры, Пилсудский полуиронически, полуйскренно заявил:

— Я всю жизнь жил мыслью о необходимости борьбы с русскими солдатами.. Дайте мне привыкнуть к мысли о том, что надо действовать с ними рука об руку, плечо к плечу.

У многих из нас за двадцать с лишним лет до этого исторического заявления Пилсудского было такое же самое чувство.

Надо было привыкнуть к мысли о союзе с русскими революционерами.

Мы боролись с этим. унаследованным от отцов и дедов чувством ненависти... Вспоминали декабристов—«друзей-москалей» Мицкевича, вспоминали Герцена, Бакунина, «Землю и Волю», бывшую в контакте с «Национальным Правительством», руководившим восстанием 1863 года, вспоминали Потембу, растрелянных в Модлине поручика Сливницкого с товарищами, наряду с этим воскрещали в памяти события последнего времени, геройское участие польских революционеров в русском революционном движении, вспоминали Гвятковский, организатора взрыва в Зимнем дворце, Мирского, стрелявшего в генерала Дрептельна, Сенковского, покушавшегося на министра двора Черевина, Гриневицкого, героически погибшего во время убийства Александра II...

Эта мучительная борьба с самим собою, борьба с культивированным в нас в течение целого ряда поколений национализмом кончилась победой над этим самым ужасным для движения, поистине «внутренним» врагом. Заключение союза с «Народной Волей» было решено.

С момента раздела Польши русское правительство употребляло всевозможные средства для руссификации края, и не добилось абсолютно никакого результата... Чем сильнее было давление, тем сильнее оказывалось сопротивление.. Польский язык был изгнан из гимназии, нас заставляли изучать его так, как изучались иностранные языки: мы делали переводы с польского на русский и с русского на польский, хотя этот польский был нашим родным

языком... За разговор на польском языке в стенах гимназии нас жестоко наказывали...—И тем не менее, или, вернее, именно поэтому, мы настолько не знали русского языка, что по прибытии на каторгу обогатили лексикон местного жаргона такими выраженьицами, как «девичий (вместо «девственный») лес», «смотреть через пальцы», «одержать письмо» и т. п.

Даже с русскими классиками я ознакомился только в тюрьме, когда уже элемента принуждения не было...

Я упоминаю об этом потому, что то, о чем не смело даже мечтать царское правительство, вооруженное огромнейшим руссификаторским аппаратом, было, помимо его воли, достигнуто русской революционной партией. В сущности, между русскими и польским революционным движением было весьма мало общего.

В Польше движению это базировалось на рабочем классе, в России в то время—отчасти на крестьянстве, отчасти же на «обществе». На Польше сказывалось влияние Запада, и, как я это уже упоминал, характерной чертой партии «Пролетариат» было именно судорожное неиспользование всего, что могло бы связать партию с массами; в России стремление к массовому движению считалось в то время уже пройденной стадией, уже превалировало убеждение, когда-то сформулированное Желябовым, что не крестьянское восстание повлечет за собою падение абсолютизма, а наоборот, за победой интеллигенции над правительством неизбежно тотчас последуют крестьянское восстание и крестьянская революция. Но, несмотря на все это, мы «обнародовались»... Народновольтская идеология прощкала в «Пролетариат» и он все более и более «руссифицировался»... Героическая борьба «Народной Воли» с самодержавием имела такую привлекательную силу, что основы, из которых она исходила, принимались, как откровение...

В июне 1883 года в воззвании к крестьянам «Пролетариат», указав на то, что грядущая революция даст фабрики рабочим, землю крестьянам, а свободу всем, говорит: «А дабы паны не использовали ее (революции) в свою пользу, вы должны всей своей массой принять в ней участие и сами зорко следить за тем, чтобы вас не обидели»... Несколько месяцев спустя уже сказывается влияние «Народной Воли». «Пролетариат» в «подготовительной» политической борьбе с правительством видит вполне определенную цель: «дезорганизовать правительство», что должно ускорить общественный переворот и вынудить правительство на уступки, дающие возможность «организации социально-революционных кадров».

Мы руссифицировались. Но в свою очередь, надо сознаться, мы столь же «удачно» «полонизировали» русских товарищей.

Польская пролетарская масса слишком сильно откликнулась на призывы партии для того, чтобы и мы в Польше могли в итоге прийти к таким плачевным, граничащим с отчаянием, выводам, к каким пришли русские революционеры после знаменитого хождения в народ... Установление крепкой связи с массой было перманентной задачей «Пролетариата».. Но эта масса была невежественная, темная, малосознательная... А нам было некогда. Надо было торопиться.. К «свободному творчеству» в истории мы еще не относились скептически, о «соотношении сил» еще не думали... Горячей кровью сердца мы готовы были подтолкнуть движение вперед и, по возможности, скорее осчастливить человечество...

«Ждать,—говорилось в одной из статей «Пролетариата»,—пока весь рабочий люд усвоит научные основы социализма, пока каждый отдельный рабочий дойдет до того, что сам сможет стать заводчим и организатором нового строя, мы не можем, уже хотя бы потому только, что этого момента мы никогда не дождемся»..

Повторяю, мы смутно сознавали, по какому пути должно идти движение, но нам было некогда...

И мы нашли,—как нам, по крайней мере, казалось,—выход. Можно примириться с тем, чтобы масса действовала, незаренная лучами сознания, надо лишь, чтобы она питала доверие к нам, как партии, к своим руководителям и вождям. Это считалось вполне достижимым.. Надо доказать на деле, что мы—враги угнетателей народных масс..

Сделанный из этого вывод привел к экономическому террору. Только экономический террор, проводимый в защиту осознанных текущих интересов рабочей массы, откроет ей глаза на то, кто заступник и защитник ее интересов.

И вот эта-то своеобразная теория снискания расположения и симпатии масс была заимствована русскими революционерами от нас. Прославившийся впоследствии поэт-калужанин Петр Филиппович Якубович (Мельшин, П. Я.), автор «В мире отверженных», бывший участник процесса 50-ти, Овчинников, Олесинов, Флеров и друг. образовали фракцию «Молодой Народной Воли», настаивавшую на усилении агитации среди масс, и опять-таки для снискания симпатии этих масс выдвигали террор экономический и—в применении к русским условиям—аграрный. Это движение приняло характер довольно острой борьбы между «молодой» и «старой» «Народной

Волей» и, как большинство этого рода конфликтов, кончилось взаимными уступками, не удовлетворив ни тех, ни других. Только арест, с одной стороны, Лопатина, с другой, Якубовича и Овчинникова примирил обе стороны, и на процессе Лопатина в 1887 году Якубович в произнесенной на суде речи окончательно пытался ликвидировать конфликт.

Как бы то ни было, но этот экономический, а в России и аграрный террор и в Польше, и в России остался лишь на бумаге, в идеи. Все силы сосредоточивались на политической борьбе, традиционный бланкизм делал свое,—и мало-по-малу на поверхность всплыла идея захвата власти... «Народная Воля» мыслила этот «захват власти» после целого ряда террористических актов, как акт, организованный и проведенный в жизнь ею, «Пролетариат» же в этом вопросе мыслил этот ожидаемый захват скорее, как «диктатуру пролетариата»..

Духовный, идейный союз был уже заключен, формальный последовал только несколько месяцев спустя, при чем этот договор двух подпольных держав предусматривал не только территориальное разделение сфер влияния и право на самоопределение, но и гарантировал Центральному Комитету «Пролетариата» полную самостоятельность с момента революции в проведении в жизнь социальных преобразований...

Миссия окончательного заключения и подписания договора была возложена на Куницкого, который для этого отправился в Париж.

Как же мы волновались в ожидании его возвращения! Этим договором мы должны были действительно приобщиться к героическому народолюбческому движению.. Нам грезились великие, самоотверженные подвиги.. Мы все еще видели в «Народной Воле» организацию, прогремевшую на весь мир в 1880, 1881 и 1882 г. г., и не замечали, что ее слава уже закатывалась, что от прежней «Народной Воли» остались лишь светлые воспоминания... Прежде чем мы успели окончательно разочароваться, мы все, почти без исключения, оказались в тюрьме... Как оказалось впоследствии, в момент самых радужных наших грез над нами уже висел меч, который жестоко и безжалостно должен был обрушиться на наши горячие головы.

Но до этого момента мы жили, действовали, готовились к предстоящим новым боям.

12.

Через несколько дней по возвращении Куницкого из Парижа я, в связи с заключенным договором, поехал в Белосток, где должен был встретиться с членом «Народной Воли», Генриеттой Добрускиной, для размежевания сфер деятельности польских и русских революционеров: рабочее движение переходило в ведение «Пролетариата», военное—в ведение «Народной Воли».

Эта поездка в Белосток произвела на меня неизгладимое впечатление... Грязный, закопченный, невымощенный город принял меня весьма негостеприимно.. Я направился к Госткевичу, полу-рабочему, полу-интеллигенту, дельному пропагандисту, к которому начали уже в Лодзи, где он жил раньше, подбираться жандармы и вынужденному поэтому перейти на нелегальное положение и переехать в Белосток... Он жил где-то в предместьи... С трудом добравшись до его домика, я открыл калитку и был встречен презлющей собакой, которая зубами вцепилась в мои брюки и порядочно их потрепала.. Выбжавшая из дому женщина отозвала проклятую собаку и на мой вопрос о Госткевиче ответила мне, что он вернется только часа через два...

Никаких других явок у меня не было... В растерзанной одежде ходить по городу было неудобно и небезопасно,—и я в первый момент растерялся.. К счастью, поблизости, в том же переулке оказался какой-то захудалый портной, который тут же привел мой туалет в порядок и этим дал мне возможность показаться на свет божий...

С трепетом я приближался к злополучной калитке два часа спустя.. Но собака была уже на привязи, и я благополучно проник на чердак к Госткевичу.

Он был неузнаваем. Дельный, живой, энергичный в Лодзи, он в Белостоке стал каким-то вялым, неподвижным. В Варшаве и в Лодзи пролетариат воспламенялся, как спичка, и действовал на агитатора. В Белостоке этого не было, не было революционных традиций, и это действовало на Госткевича...

Он просился «домой», несмотря на грозившую опасность. Я его убеждал, усовещевал, но это возымело лишь временное действие: несколько недель спустя он сбежал-таки из Белостока...

Ознакомившись с положением дел на месте, я ему не удивлялся. В организации царяла полная анархия... Все друг друга знали поименно, пофамильно... Никакой конспирации никто не соблюдал... Еврей-рабочий, в длиннополом сюртуке при встрече на улице с революционером-офицером преспокойно здоровался с ним за руку... Я пришел в ужас... Как их только хранил бог!

В идейном отношении—аналогичная картина. И офицеры, и рабочие не имели даже азбучного понятия о социализме, в ряды революционеров их толкало только недовольство существующим режимом, и ничего более...

Это была еще—в буквальном смысле слова—целина, незатронутая плугом пропаганды де ственная почва. А между тем эту почву пытались всахать, и были уже жертвы этих попыток... Незадолго до того был сослан в Восточную Сибирь Лубиницкий, а две его сестры продолжали энергично начатую им работу, главным образом, среди еврейского пролетариата. Эта деталь меня поразила... В Польше в то время были еврейские ремесленники-подмастерья, но настоящих пролетариев-евреев не было и в помине... Здесь же в Белостоке их были сотни на суконных фабриках...

В своем отчете о поездке в Белосток я сообщал об этих евреях-пролетариях, как о специфической местной особенности...

Плачевные результаты пропаганды были неизбежным следствием всей постановки дела,—ни книг, ни брошюр, ни органа, приспособленного к потребностям рабочей массы, не было... От времени до времени получалось воззвание, от времени до времени пропагандист «своими словами» говорил рабочим о недостатках существующего и о прелестях нового строя. Работа среди рабочих была в загоне, на самом последнем плане... Все внимание было обращено на военных, и то—не на солдат, а на офицеров...

Добрускина не приехала в Белосток, и на собрание целых пяти офицеров и одного военного писаря меня повел все тот же Госткевич.

Офицеры—«забубенные головушки», горячие, немного беспашинные, «выводили свой род прямо от декабристов», искренно возмущались всем происходившим в России, сочетали довольно наивно честь мундира с честью революционера, именно себе—офицерству—отводили главнейшую роль в борьбе с самодержавием, в военном заговоре видели единственный способ свержения власти и искренне готовы были ради этой цели пожертвовать жизнью...

Я привез с собой только что отпечатанный в Варшаве листок «От мертвых к живым» — скорбный клич заключенных в казематах Петропавловской крепости к живущим на воле..

Мы прочитали вслух это воззвание-жалобу.

Офицеры приумолкли...

Один из них, нервно потирая лоб, все повторял:

— Ужас! Ужас! Ужас!..

Другой, смущенно потупив взор, только один раз прервал стоном:

— Как стыдно! Как страшно стыдно!

На этого офицера я обратил внимание и отдельно от других вступил с ним в беседу.

Это был поручик Тихомиров. Более я его никогда в жизни не видел, но до самой смерти не забуду его меткой характеристики его же собственного душевного состояния.

— Знаете, когда вы читали, я чувствовал себя, словно меня сквозь строй гонят. Каждое сообщение об издевательствах над заключенными воспринимается в особенности нами, военными, как удар шпицрутена...

Впечатление, произведенное привезенным мною листком, было огромное, но непродолжительное.

Молодость имеет свои права, свои законы...

Час спустя офицеры «шутки ради» решили проводить меня на вокзал. Я решительно воспротивился этому, отчитал за несоблюдение конспирации и согласился лишь на то, чтобы Тихомиров издали наблюдал, не случится ли чего-либо со мною. Но ничего не случилось. Белостокские жандармы были столь же беспечны, как и революционеры, и я благополучно покинул Белосток.

Моей поездке придавалось большое значение, и мне было поручено немедленно по приезде явиться на квартиру, более всего оберегаемую, для представления отчета. Это была квартира коронного мирового судьи, русского, — Петра Васильевича Бардовского.

Когда я отрекомендовался ему условленной кличкой, он, окинув меня внимательным взором чуть ли не с ног до головы, добродушно заметил:

— Ну, и юнец же вы еще!.. Совсем зеленый!..

Я опешил!..

Проникнутой серьезностью возложенной на меня миссии, я уж никак не ожидал подобной встречи.. Но ни в голосе, ни в тоне

добродушно улыбавшегося Петра Васильевича не было ничего на-смешливого. Даже, пожалуй, наоборот. Ему, человеку, по моим тогдашним представлениям, «пожилому»—ему на вид было под сорок лет—как будто нравилась эта «зеленость». Типичнейший шестидесятник и по воззрениям, и по всему жизненному обиходу, и нигилист, и резонер, и либерал, и сочувствующий революционному движению, судья по назначению в руссифицируемой стране и искренний демократ, выучившийся польскому языку, чтобы понимать приходивших к нему клиентов, Бардовский, сам лишь пассивно содействуя революционному движению предоставлением революционерам своей квартиры, хранением нелегалщины и т. п., как бы радовался активности принимавшегося за борьбу поколения..

Я сразу оказался у него, как дома. Он знал меня по рассказам Куницкого и Дембского, ему, повидимому, было передано и кое-что из моих разговоров с этими обоими товарищами, характеризующее меня, как пылкого, увлекающегося юношу, и он добродушно подтрунивал:

— Ну, скоро всыхнет революция в Белостоке?..

Моя поездка в этот город отнюдь не могла настроить меня оптимистически..

Я вкратце передал ему, что я там застал..

— Ну, если вы уже находите, что не скоро, то, видно, дело и впрямь скверно..

В комнату вошла его гражданская жена Наталия Польш... Более живая, более подвижная и активная, она не представляла столь ярко выраженного типа, как ее муж.. Но отношение ее ко мне было такое же, как и мужа,—как к хорошему, увлекающемуся юноше.. И это меня не обижало.. Бардовские не подавляли своим превосходством, наоборот, как бы завидовали моей юной вере.

Вскоре пришел Куницкий, встреченный ласково не только хозяевами, но и собакой, с которой он еще в передней начал шалить.

— А ты что же? Еще с Милкой не познакомился,—бросил он мне вопрос, входя в кабинет, где мы находились...

— С нашей «крестной»,—сострила Польш.

— «Крестной»?

Куницкий захохотал в ответ..

— Да! Да! «Крестной», из-за которой ты когда-то на собрании попал впросак...

— Я?

— А помнишь, как ты налетел на меня, зачем я называю при всех фамилию Милковских...

Я недоумевал..

— Вот она, Милка,—торжествовал Куницкий,—а от нее они—Милковские...

Хорошо было у Бардовских... Это было единственное место, где нелегальные бездомные могли хоть на час согреться у домашнего очага, отвлечься от революционных дел, хлебнуть нормальной спокойной жизни. У Бардовских было и уютно, и безопасно. Безопасно, несмотря на то, что у них хранился и партийный архив и все, чем партия более всего дорожила, что в этом архиве хранилось и то воззвание к военным, которое, по настоянию Куницкого, составил Бардовский и которое впоследствии стоило ему жизни.

Это безопасность обуславливалась служебным положением Бардовского. Он был уверен, что ни прокуратура, ни жандармы не решатся так, с бухты-баракты, нагрянуть к нему с обыском... И это было верно... Но они сделали это не с «бухты-баракты».

Там, в 10-м павильоне Варшавской Цитадели при поминци умалишенного Загурского уже плелась та петля, которая должна была захлестнуть нас всех... За квартирой Бардовского было установлено наблюдение... Показания лишившегося рассудка подтвердились, и жандармы нагрянули на квартиру Бардовского не «по подозрению», а в полной уверенности, что тут их ждет огромная добыча.

В то время, когда мы в этой квартире так весело и беззаботно балагурили, наша судьба была уже решена.

11 июня (п. ст.) 1884 года Бардовский был арестован..

Я, по тогдашней терминологии, не «дожил» до этого момента и превратился в живого покойника за девять дней до этого, на основании показаний арестованного в Вильне члена партии «Народной Воли» Янчевского, который раза два у меня на квартире почевал, а впоследствии, когда его арестовали, не колеблясь, указал на меня, как на содействовавшего «Народной Воле».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Арест и следствие.

1. Арест и первые дни в тюрьме.

1.

— Паньч, вы уже никуда сегодня не пойдете?—остановил меня вопросом дворник, когда я входил в ворота, направляясь в свою квартиру.

Было начало одиннадцатого. Мне не раз приходилось в это время возвращаться домой и никуда больше не уходить, но дворник никогда не ставил мне таких вопросов. Я насторожился.

— А что? Почему вы спрашиваете?

— Околоточный велел, как только вы вернетесь, немедленно дать знать в участок,—с эпическим спокойствием ответил дворник.—Я вот и не знаю: сейчас в участок сбегать или подождать? Может быть, вы еще уйдете, а околоточный придет и вас не застанет.

Я взглянул на него. Ни один мускул не дрогнул на его лице. И только по глазам, слегка прищуренными и как бы насмешливо улыбающимся, можно было заключить, что дворник не по наивности ставит эти вопросы.

Опыт насаждения в Варшаве петербургских приемов слежки и превращения варшавского сторожа дома в дворника-шпика положительно жандармам не удался. Польские Мацеки и Бартеки мало годились для такой роли.

— Нет, Ян, я еще уйду и вернусь только через час, через полтора.

— Ладно.

Я быстро поднялся по лестнице в свою студенческую комнату.

Вот поживились бы жандармы, если бы не Ян! Чего, чего в этой комнате не было! Номера «Пролетариата» и «Народной Воли», брошюры, воззвания, начатые статьи для следующего номера «Пролетариата» и шрифт, только в этот день полученный через одного типографского рабочего, для пополнения наших скудных запасов.

Часть этих сокровищ пришлось сжечь, другую навьючить на себя, нагрузить карманы, спрятать под одеждой.

Только через час, управившись с чисткой квартиры и нагруженный, как верблюд, я спустился по лестнице.

Ян дожидался меня в воротах, быстро открыл калитку, взглянул на улицу и, пропуская меня мимо себя, бросил на прощанье:
— С богом, паныч, с богом!

Повидимому, он был уверен, что я уже больше не вернусь к себе на квартиру.

Но для меня этот вопрос еще не был решен. Занятый лишь тем, чтобы по возможности скорее и тщательнее очистить квартиру, я еще не останавливался на выводах, какие предстояло сделать из «любопытности» околоточного. А после того, как за мной закрылась калитка и я очутился на улице, я думал лишь об одном, как незаметно пройти по соседнему кварталу, где меня знали и могли проследить, а то и задержать шпики, и кому и как сплавить нелегальную кладь, которой я был навьючен.

Сравнительно недалеко от моей квартиры жила учительница Розалия Фельзенгардт, впоследствии, после нашего ареста, игравшая в партии, вместе с Марией Богусевич и Константином Стржеминским, весьма видную роль и так же, как и двое последних, погибшая во время этапного пути в Восточной Сибири. В то время она еще только начинала свою революционную деятельность. За ней еще не могли следить. Я и решил направиться к ней, тем более, что сторож дома, где она квартировала, большой любитель получаемых от меня при всяком удобном и неудобном случае гривенников, был весьма ко мне расположен.

Заметая за собой следы, делая круг в сторону, проходя по самым пустынным улицам, я благополучно добрался до квартиры Фельзенгардт. Сообщив ей, что меня к ней привело, я быстро разгрузился и уже налегке направился в ресторан Бедржицкой—обычное место наших партийных совещаний. В этом ресторане, находившемся в самой многолюдной части Варшавы, на Краковском предместье, недалеко от бывшего королевского дворца, мы чувствовали себя в большей безопасности, чем в каком-либо другом ресторане.

Как постоянным посетителям, по мнению кельнеров—«бешабашным кутилам», нам всегда отводили отдельный кабинет, и мы могли там беспрепятственно говорить о наших делах. Это было наше любимое место для встреч, и каждый день, часов в 10—11 вечера, мы собирались там и для сообщения о сделанном в течение дня, и для обсуждения намеченных для будущего работ, и для того, чтобы своим присутствием удостоверить, что человек еще «жив», что жандармы его не захватили.

У Бедржицкой все уже были в сборе: бывшие тогда членами Центрального Комитета—Станислав Куницкий и Людвиг Янович и агенты: Станислав Пацановский, Бронислав Славинский. Я сильно запоздал, и это вызвало у всех беспокойство, вследствие чего мое появление было встречено радостными восклицаниями и упреками.

Я вкратце сообщил, чем было вызвано мое запоздание, и мы сразу приступили к обсуждению вопроса, как мне быть: позволить себя арестовать или же перейти на нелегальное положение и, по крайней мере, на некоторое время покинуть Варшаву. Мнения разделились.

Люди, испытавшие на себе всю тяжесть нелегального существования, положение человека, не имеющего своего угла—сегодня ночующего в одном месте, завтра в другом, отрезанного от всех родных и близких, всегда одинокого, всегда преследуемого, как травленный зверь,—проявляли весьма малую склонность советовать кому бы то ни было легкомысленно расстаться с легальностью.

Мне переход в нелегальные казался неизбежным, но нельзя сказать, чтобы я с легким сердцем решался на это. Не касаясь личных привязанностей, из-за которых я рад бы был остаться «самим собою», несмотря на мое нерасположение к нелегальному существованию, на меня повлияло одно происшествие, свидетелем которого мне пришлось быть.

Приблизительно за месяц до моего ареста я шел вместе с Куницким по одной из аллей Саксонского сада (в Варшаве) на какое-то собрание. Вдруг Куницкий, бледный, как полотно, шарахнулся в сторону, а шедшая навстречу дама грохнулась в обмороке на землю.

Я подбежал к ней, помог привести ее в чувство.—Что с вами?—участливо спрашивали ее обступившие прохожие.—Ничего, ничего.. Просто голова закружилась,—смущенно ответила дама и медленно поплелась дальше, озираясь беспокойно по сторонам.

Я оглянулся, ища Куницкого, но его и след простыл. И только несколько минут спустя, когда я решил уже один продолжать путь, он откуда то вынырнул. На нем лица не было.

Бледный, взволнованный, он спросил задыхаясь:

— Ну, что с нею?

— Ничего, оправилась...

— Это моя мать!—как бы оправдываясь, бросил Куницкий.

Оказалось, что мать Куницкого, зная, какая опасность угрожает сыну, была уверена, что он, вняв ее слезам и мольбам, уехал за границу и не подозревала, что он, рискуя жизнью, продолжает оставаться в пределах досягаемости жандармов. Только неожиданная встреча с сыном открыла ей глаза на действительность. Материнское сердце не выдержало, и она лишилась чувств. А он не мог даже подойти к ней... И только из-за кустов следил за тем, как совершенно посторонние, чужие люди возятся около нее!

Это происшествие не выходило у меня из головы, и отказ от легальности не мог меня привлекать.

Юнцы Славинский и Пацаповский волновались. Им казалось диким, как можно даже обсуждать вопрос о том, отдаваться ли добровольно в руки жандармов. Янович внимательно прислушивался ко всему, что говорили другие, и лишь под конец присоединился к мнению Куницкого.

А Куницкий? Все были уверены, что он-то будет энергично настаивать на немедленном переходе в нелегальные. Случилось, однако, обратное. «Для этого нет никаких оснований и никакого смысла,—начал свои возражения Куницкий.—Если бы дело было мало-мальски серьезное, жандармы не действовали бы так опрометчиво—не предоставили бы умному околоточному делать глупости, а нагрянули бы сами ночью, врасплох. Да и что может угрожать «Фису»? (моя тогдашняя кличка). Все арестованные—люди надежные. Нет опасений, что кто-нибудь из них может его «забыть». Все дело, следовательно, сводится к какому-нибудь перехваченному письму или где-нибудь случайно найденному его адресу. Если его и арестуют, а может быть, все ограничится только обыском, то он просидит недельки две-три, не больше. Но есть еще одно важное соображение. После ареста «Длугого» (Варынский) и «Малого» (Дулемба) порвались связи с некоторыми рабочими. Фис может в цитадели сблизиться с ними, получить эти связи и по выходе из тюрьмы восстановить «прерванную работу».

Это был чуть ли не единственный случай, когда Куницкий говорил деловито, спокойно, «рассудительно», не впадая в свойственный ему по натуре агитационный тон.

Я, как свидетель сцены встречи Куницкого с матерью в Саксонском саду, смутно чувствовал, что он руководствуется не только партийно-деловыми соображениями, а что ему не чуждо и желание уберечь других от тех тяжелых переживаний, которые выпали на его долю. Но остальные товарищи и не подозревали, что Куницкий, всегда горящий огнем революции, всегда жизнерадостный, бодрый и готовый броситься в огонь и воду, может мучиться и страдать из-за того, что у него никогда нет крыши над головой, нет своего угла, что он отделен целым отрядом шпиков от родных и близких, от родного отца и матери. Всего этого другие товарищи не знали, и для них уже одно то, что даже Куницкий высказывается против моего перехода в данный момент на нелегальное положение, было весьма веским аргументом.

Янович первый согласился с Куницким, а за ним уже присоединились и другие. Роковое решение,—из-за которого впоследствии я и каждый из них делали себе горькие упреки,—было принято.

Некоторое время в обычно шумливой и радостно настроенной нашей компании царило угрюмо-подавленное настроение. У всех на душе скребли кошки.

Я поднялся первый.

— Уже идешь?—печально улыбнувшись, спросил Куницкий.

— Пора.

Расцеловавшись на прощание со всеми, я медленно поплелся навстречу новой—увы!—на многие годы подневольной жизни.

2.

Было уже далеко за полночь, когда я приближался к своей квартире, где,—в чем уже не сомневался,—меня ожидало лишение свободы.

Тяжелое чувство! Добровольно отдаваться в руки врагу!

Все время меня подмывало не идти домой, скрыться, поступить наперекор партийному решению. Но чувство партийной дис-

циплины брало верх над инстинктом самосохранения, и я все приближался и приближался к роковому месту. Оставалось еще только завернуть за угол и пройти половину квартала, а там уже не я буду решать свою судьбу.. Еще всего минут пять колебаний и душевных мук... Но сердобольные жандармы пожалели меня и сократили мои муки. Я еще не дошел до угла, как был схвачен за обе руки вынырнувшими откуда-то из темноты жандармами, полицейскими и шпиками, в миг ошупавшими мои карманы и доложившими приблизившемуся к нам приставу: «Оружия нет».

А начальство, ослабившись и отдав распоряжение отпустить мои руки, приложившись к козырьку, объявило:

— Вы арестованы!

— На каком основании? Вот мой студенческий билет. Можете взять его для установления личности, но арестовывать меня не имеете права.

В то время «матрикула»—студенческий билет—была своего рода «*Naveas corporis act*»—документ неприкосновенности, и мои заявления не были так безосновательны, как они могут показаться в настоящее время. Но пристава они не смутили.

— Да вы же арестовываетесь по политическому делу,—возразило начальство, снисходительно улыбаясь.—Впрочем, мы отвезем вас к вам же на квартиру, а там уж не наше дело.

Сказав это, пристав стал рядом со мною, «нижние чины» отступили на несколько шагов назад, и мы двинулись к моей квартире.

У ворот дома стоял Ян. Я не разглядел его лица, но вряд ли в этот момент на нем отразилось какое-либо лестное обо мне мнение.

Улыбнувшись, что я в сохранности доставлен «по месту назначения», пристав удалился доложить по начальству о моем задержании, а жандармы, околоточные и прочие штатские и нештатские полицейские агенты вошли со мной в комнату.

Только в этот момент я обратил внимание на тот живописный, но вместе с тем предательский беспорядок, какой царил в моей комнате, после произведенной мною чистки. Конечно, уже было поздно, да вряд ли и стоило удалять следы этого беспорядка. Но тут я обратил внимание на нечто горшее этого беспорядка, что составляло уже не косвенную, а прямую улику моей причастности к конспиративным делам. Это были два небольших пузырька с жидкостями. В одном находилась разведенная желтая соль, которой мы писали между строками письма, написанного обык-

новенными черными чернилами; в другом—раствор полутора-хлористого железа, которым мы выявляли конспиративные строки, написанные этой, не оставлявшей видимого следа, солью. После смазки раствором в письме между строк выступали синие буквы. Жандармам был известен этот способ тайной переписки, и эти два злополучных пузырька, о которых я, произведя чистку квартиры впопыхах, совершенно позабыл, могли стать для них уличающим меня вещественным доказательством. К счастью, я не растерялся.

— У вас есть чернила для составления протокола?—с самым невинным видом обратился я к околоточному.

— А у вас разве нет?—смутился околоточный. Я думал, идем к студенту, чернила найдутся.

— Нет у меня чернил... Но ничего.. Я сделаю. И прежде, чем околоточный успел сообразить, в чем дело, я быстро вылил в стакан ягидкость из обоих пузырьков и по какому-то наитию бросил в стакан кусок сахара. Размешав, я обмакнул перо и для пробы написал на бумаге несколько слов.

— Сойдет?—бросил я вопрос околоточному.

— Сойдет,—успокоил он меня.

Сфабрикованные так быстро чернила заинтересовали жандармов. Они тоже рассмотрели написанное и также одобрили их. А когда начальство часа два спустя составляло протокол обыска, ему и в голову не приходило, какими оно пишет чернилами.

Это начальство недолго заставило себя ждать. Не успел я еще в душе досыта нарадоваться по поводу успешного проведения за нос полиции, как оно явилось в лице моего «старого знакомого» Секеринского, производившего вместе с Плеве у нас обыск еще в 1878 г., когда арестовали мою сестру и мать, и незнакомого мне товарища прокурора петербургского окружного суда Арсеньева.

Секеринский, войдя в комнату, оглянул ее быстрым взором и, обращаясь к Арсеньеву, громко заявил:

— Тут уже был обыск до нас.

Товарищ прокурора кивком головы подтвердил верность наблюдения своего коллеги.

Я пропустил мимо ушей это рассчитанное на известный эффект замечание Секеринского и обратился к нему с вопросом, на каком основании у меня производится обыск.

— По предписанию прокурора петербургской судебной палаты,—гласил сухой ответ жандармского подполковника.

У меня отлегло от сердца. Куницкий был прав. Я принимал такое незначительное участие в «Народной Воле», что ничего серьезного против меня в руках жандармов не могло быть. Я даже возмечтал, как щедринский заяц, о том, что—быть-может,—ха! ха! ха!, «меня помилуют», и дело кончится только обыском. Мне, конечно, и в голову не приходило, что жандармы могут быть осведомлены о моей деятельности в «Пролетариате» и лишь по одним им известным соображениям до поры до времени не возбуждают об этом вопроса.

Заняв место за столом и распорядившись, чтобы жандармские чины приступили к обыску, Секеринский, любезно улыбаясь, спросил:

— А ваша сестренка как поживает? Уже вернулась из Сибири?

— Да вы же знаете, что вернулась,—ответил я вызывающе.

— Конечно, знаю... Вся семья такая!—отрекомендовал он меня Арсеньеву.

Товарищ прокурора не поддерживал разговора в этом тоне, и зевающему от скуки Секеринскому ничего не оставалось, как приступить к составлению протокола, при чем молчавший до этого товарищ прокурора позволил себе весьма либерально пошутить.

На вопрос Секеринского, не был ли я под судом, я ответил:

— Ведь я студент. Если бы судился, то меня исключили бы.

— А могли же вы судиться за нанесение оскорбления действием?—лукаво улыбаясь, вдруг выпалил Арсеньев.

Незадолго до этого в Варшаве судился студент Жукович за нанесение пощечины попечителю варшавского учебного округа Апухтину. Последний своей руссификаторской деятельностью превзошел всех своих предшественников. Его ненавидели в Польше больше, чем генерал-губернатора Гурко. Известие о полученной им пощечине с быстротой молнии разнеслось по всей Польше, вызывая повсюду бурю восторга. И хотя Жукович рассчитался с Апухтиным пощечиной по каким-то личным делам, но разными слоями Польши это событие было использовано, чтобы нанести ретивому руссификатору моральную пощечину.

В университете начались крупные волнения в первый раз после восстания; аудитория, в которой находились студенты, была окружена войском; присутствовавшие на сходке были переписаны, а впоследствии многие арестованы и исключены. Наряду с этим в газетах начали появляться сведения о пожертвованиях

на всевозможные благотворительные цели с припиской: «в ознаменование получения радостного и желанного известия». Один из таких жертвователей, сын крупного варшавского банкира, по распоряжению генерал-губернатора Гурко, был выслан в 24 часа в северные губернии России. Но репрессии не действовали. Варшава ликовала. Все были уверены, что Польша избавится, наконец, от Апухтина. Случилось наоборот:—пощечина эта укрепила его положение; Александр III строго держался правила, что «за битого двух небитых дают» и, узнав об отношении Польши к нанесенному попечителю округа оскорблению, наградил ревностного исполнителя своих предписаний орденом Александра Невского при соответствующем рескрипте.

Это только подлило масла в огонь. Остротам не было конца. В один прекрасный вечер в цирке Чинизелли на арене появились три клоуна. Один из них хлопнул другого по лицу. Тот, держась за щеку, начал жалобно голосить. Тогда третий клоун чинно и важно подошел к нему и прикрепил на его груди орден. Весь цирк завыл от восторга. А на следующий день все три клоуна-иностранца были высланы за границу.

Слухами об этих событиях была полна вся Варшава, и на это намекал Арсеньев.

— Вы бы знали об этом,—ответил я прокурору.

Секеринскому весь этот разговор был не по душе. Он прервал его вопросом, обращенным к обыскивающим.

— Ничего не нашли, конечно?

— Так точно, ничего!

Внеся этот ответ в протокол, Секеринский взглянул на часы и, обращаясь ко мне, сказал:

— Уже поздно! Сегодня нельзя будет вас допросить. Придется вам переночевать в десятом павильоне.

Надежда на то, что дело кончится одним обыском, рухнула.

— Извозчик заготовлен?—спросил Секеринский старшего жандарма.

— Так точно!

Два жандарма приступили ко мне:

— Пожалуйста!

И я «пожаловал» вниз, к извозчику. В ушах прозвучало печальное «прощайте, паныч», совсем опеломленного всем происшедшим Яна. Один жандарм уселся рядом со мной на переднем си-

день, другой на скамейке против меня, и извозчицья пролетка быстро покатила по направлению к варшавской цитадели—месту заключения, душевных мук и физических страданий целых поколений мечтателей, целой, огромной плеяды борцов.

3.

Я не раз до ареста бывал на свиданиях с заключенными родственниками в варшавской цитадели, в знаменитом десятом павильоне, предназначенном исключительно для политических. Но то было днем. Нельзя сказать, чтобы и днем крепость и мертвая тишина производили «хорошее» впечатление. Что же говорить о ночи?

Когда мы подехали к цитадели, мост перед воротами был поднят. Нас окликнул часовой; старший жандарм соскочил с пролетки и, повидимому, сказал пароль. Часовой свистнул; откуда-то вынырнул заспанный разводящий; опять куда-то нырнул, и мост стал медленно опускаться. Ворота крепости гостеприимно разверзлись.

Слишком тридцать лет спустя я присутствовал в Цюрихе при сжигании тела профессора Эрисмана в местном крематории. Последний момент похоронного обряда производит потрясающее впечатление. Под траурные звуки гроб с телом катится бесшумно по рельсам к дверцам печи. Эти дверцы распахиваются, гроб движется медленно все дальше и дальше в глубь печи, и дверцы закрываются. Все кончено.

И вот этот момент похорон живо напомнил мне распахнувшиеся тогда и поглотившие меня ворота цитадели. Часовые, шагающие внутри крепости перед различными зданиями, не обращали на нас никакого внимания. Для них эти пролетки с арестованными и жандармами были обычным, повседневным явлением. Вряд ли хотя один на тысячу из них останавливался на вопросе,—за что арестуют этих, провозимых мимо них, студентов. А если и находился ставивший себе этот вопрос, то решал его по-солдатски: «приказано».

Уже начало рассветать, когда мы под'ехали к десятому павильону. Дежурный жандарм доложил старшему; тот ввел нас в крупнейшую слабо освещенную канцелярию, а сам побежал будить заведующего.

Прошло еще несколько минут, и в канцелярию вошел заведующий капитан Александрович — типическая тюремная крыса. Маленький, шупленький, на кривых ножках, — он казался карикатурой на человека. Внешнему его виду вполне отвечало внутреннее содержание. Он и в этом отношении смахивал на карикатуру. Врал артистически, не моргнув глазом, лебезил перед начальством, либеральничал перед заключенными, «экономил» на арестантских желудках, заботясь лишь о том, чтобы все было «шито-крыто». До остального ему не было никакого дела. Если он взятки не брал, то лишь из трусости, как бы не влопаться. Жандармов ненавидел всей душой, сознавая, что именно они постоянно за ним надзирают; но не пылал любовью и к заключенным, «подводившим» его то своим перестукиванием, то «внутренней корреспонденцией» друг с другом, то «внешней» перепиской с волей.

С возмущением и негодованием он при всяком удобном и неудобном случае рассказывал заключенным и их родным, приходившим к ним на свидание, как жестоко его подвели заключенные еще в 1878 году. Они не только издавали в десятом павильоне журнал: «Голос Узника», но ухитрились отправлять его и на волю; в результате он был захвачен за границей в Кракове во время обыска у арестованных по делу первых польских социалистов в Галиции.

Александрович рассматривал этот вопрос только под углом зрения тех неприятностей, какие были ему этим уготованы заключенными. Более интересные и существенные детали его не интересовали. А между тем этот издававшийся в десятом павильоне всего в двух экземплярах «Голос Узника» является одним из интереснейших документов социалистического движения. Выходил он год редакцией Иосифа Плавинского, год спустя умершего, и Максимилиана Гейльперна — ныне известного педагога в Варшаве. В нем, на ряду с сантиментальным народолюбием, получившим яркое выражение в стихотворении, подписанном «Мацек» («Ведь я не имел в виду себя, когда я брал в руки знамя «за народ»; я хотел, народ, бороться за тебя и стать на защиту твоих прав»), — появилось знаменитое, до сих пор весьма популярное в среде польского рабочего класса стихотворение тогда еще социалиста Вацлава Серошевского: «Чего они хотят?», противопоставлявшее идеалы и стремления бур-

жуазии идеалам и стремлениям рабочего класса, шествующего под красным знаменем. Здесь впервые начал писать Вацлав Свенцицкий, будущий автор знаменитой «Варшавянки», отхлестывая бичем сатиры либералов, моливших царя дать конституцию. Его же перу принадлежало юмористическое стихотворение «Пала Педро» на мотив «Мамы Анго», в котором он дает стихотворный шарж на Александровича.

Журнал, действительно, впервые был обнаружен в Краковской тюрьме... А так как и тогда уже был воплощен в жизнь лозунг: «Жандармы всех стран, объединяйтесь!», то прокурор-поляк предупредительно сообщил о результатах обыска варшавскому прокурору—москалю. Последний,—прокурор варшавской судебной палаты, известный либерал Трохимовский, печатавший свои статьи в «Вестнике Европы»,—задетый в своем полицейско-прокурорском самолюбии, произвел тщательный обыск во всех камерах. В то время, как жандармы вскрывали половицы, рылись в печах и разрывали тюфяки, либерал-прокурор жаловался как раз инициатору и редактору журнала Иосифу Плавинскому:

— Войдите в мое положение! Как на меня смотрят за границей? У меня в тюрьме издается журнал, и об этом мне ничего неизвестно. Только из-за границы меня извещают об этом... Каково!

— Если только за этим дело стало,—хладнокровно заявил в ответ Плавинский,—то этому горю не трудно пособить. Вот вам издающийся в краковской тюрьме «Скрежет Узника»... Можете отправить его краковскому прокурору и получите реванш...

Плавинский знал, что, по окончании обыска в камере, жандармы приступят к личному обыску. Карманы его были набиты номерами «Скрежета Узника», редактировавшегося в краковской тюрьме сидевшими там Людвигом Варыньским, Станиславом Мендельсоном и др. Ему терять было нечего, и он с любезным жестом вручил Трохимовскому исписанные листки этого журнала. Прокурор заржал от радости и нервно схватил заветный листок:

— Благодарю вас! От души благодарю!

— Не стоит благодарности,—не удержался Плавинский.

«Обрадовавшийся» прокурор не сообразил, что «реванш»-то он получит, но суть дела от этого не изменится. Факт оставался фактом и сводился к тому, что заключенные поддерживали из крепости связь с заграницей, получали оттуда журналы и отправляли туда свои.

Александровичу тогда серьезно влетело, и до оставления им поста заведующего, он постоянно вспоминал об этом событии. На его образ действий при приеме вновь арестованных это все же не подействовало. Меня обыскали довольно небрежно и отвели в камеру. Я дьявольски устал. Помню лишь, что приведший меня в камеру старший жандарм Фомин сунул мне в руку составленные в стиле Данте правила: «Попавший сюда,—гласит один из этих пунктов,—должен забыть, кем он был, и помнить лишь то, что он арестант». Я наскоро прочитал эти правила и, как только жандармы ушли из камеры, бросился, не раздеваясь, на койку и уснул, как убитый.

II. В Варшавской цитадели.

1.

— Извольте одеться!

Я открыл глаза и увидел перед собою старшего жандармского унтера-офицера Фомина, который принимал меня гостеприимно в акануне в число обитателей десятого павильона и наставлял на путь арестантский, а ныне почему-то не давал мне спать.

— Извольте одеться. Вас повезут на допрос.

— Сейчас.

Он этим удовлетворился. Но обещанное мною сейчас превратилось в свою полную противоположность. Я проспал все. И воду для умыванья, которую приносили в камеру в девять часов утра, в то время, как меня разбудили только в двенадцатом часу, и уборку камеры, и кипяток для чая. Только благодаря тому, что мне предстояло ехать на допрос, мне удалось настоять на том, чтобы мне принесли хотя бы только воду для умыванья, но переговоры об этом длились довольно долго. Фомин суетился, прибежал и заведующий. И для того, и для другого произносимое ими с трепетом: «там ждут» было как бы достаточным аргументом, чтобы я, не умывшись, ехал на допрос.

Надо сознаться, что и я поторапливался. Я все-таки верил в глубине души, что меня допросят и выпустят. Только эта надежда побудила меня отправиться на допрос натошак.

О самом допросе я начал думать только тогда, когда мы уже выехали на извозчике из крепости и по знакомым улицам направлялись к той самой камере прокурора, которую мы собирались взорвать. Перебрав в уме фамилии всех арестованных, я вновь и вновь приходил к заключению, что никто из них не мог меня выдать, но тем менее я не был спокоен. Было что-то, заставившее жандармов арестовать меня, а что именно—я не знал.

— Спокойствие и самообладание, что бы ни случилось!—решил я, поднимаясь уже по лестнице в злополучную «допросную» камеру.

· Меня уже ждали. И Секеринский, и Арсеньев были приторно приветливы, словно я пришел к ним в гости.

Меня пригласили сесть, предложили папиросы,—и начался допрос.

Мицкевич характеризует такой допрос, как нечто худшее, чем палочные удары. И он безусловно прав. Нет и не может быть ничего хуже той дуэли, в которой одна сторона, вооруженная целым государственным аппаратом сыска, пользуется уже имеющимися в ее распоряжении данными для того, чтобы выудить новые сведения, уличающие как допрашиваемого, так и его товарищей, а другая, не зная даже в чем ее обвиняют, должна отбивать удары, рискуя тем, что малейшая неосторожность может повлечь за собою потерю не только жизни, но и чести.

Ужасная дуэль, в которой нападающей стороной являются матери, набившие руку в сыске инквизиторы, а обороняющейся—юшцы, горячие и пылкие, весьма легко выбиваемые из равновесия.

К счастью, я знал, с кем имею дело. За шесть лет с момента ареста первых социалистов Секеринский успел себе завоевать достаточно громкое позорное имя. И я был настороже.

Секеринский начал издалека. Спросил, бывал ли я в России. не случилось ли мне встречаться с русской молодежью. На мой отрицательный ответ он бросил новый вопрос:

— И к социал-революционной партии «Народной Воли» не принадлежали?

— Нет.

— И ничего о ней не слыхали?

Не слышать в то время о «Народной Воле» нельзя было. О ней постоянно попадались известия даже в легальных газетах: то о совершенных ею террористических актах, то о расправах правительства с членами этой партии. Вопрос Секеринского имел, повидимому, лишь проверочный характер желания узнать, намерен ли я давать отрицательные ответы на все предлагаемые мне вопросы, или же готов кое-что и подтвердить. Он, повидимому, еще только изучал меня.

— Нет, слыхал.

— От кого?

— В газетах не раз читал отчеты о процессах.

— Из газет, значит, знаете о ней... Так. А членов партии никогда не встречали?

— Нет.

— Наверное?

Он взял со стола напизанную на проволоку связку фотографических карточек.

— А ну, посмотрите. Может быть, все-таки кого-нибудь узнаете?

Я внимательно просмотрел всю коллекцию. Лиц, предательства которых можно было опасаться, в коллекции не было. Янчевского я считал вполне надежным.

— Нет.

— Нет?—с изумлением в голосе вновь переспросил Секеринский.—Удивительное дело! А этого тоже не знаете?—сунул он мне в руку карточку Людовика Варынского.

— Нет.

— Даже по наслышке?

Секеринский не назвал фамилии Варынского. Не знать по наслышке Варынского, пользовавшегося тогда легендарной популярностью не только в революционной среде нельзя было. Секеринский рассчитывал, что я тут-то и попаду в расставленные им сети, так как и утвердительный, и отрицательный ответ уличил бы меня в сознательной лжи. Как я мог знать, знаю ли я или не знаю по наслышке человека, которого фамилия не была мне названа. Но я не попался на эту удочку.

— А как фамилия этого господина?—спокойно отпарировал я этот удар.

Секеринский даже не соизволил ответить.

— А Янчевского тоже не знаете?—обрушился он на меня новым вопросом, за которым очень быстро один за другим посыпались другие.—Задунайского, который у вас на квартире ночевал, который убеждал вас примкнуть к «Народной Воле»?.. Чахоточный такой?..

— Нет.

— Вот как? Не видали его и не слыхали о нем?.. И писем от него не получали?.. И адреса своего для писем ему не давали?.. И насчет ключа для переписки с ним не уславливались?—продолжал он сыпать вопросами, как бы не желая дать мне опомниться.

Каждый из этих вопросов отвечал действительности.

Я действительно был повинен в этих «ужасных» преступлениях... И тем не менее все заряды Секеринского пропали совершенно.

то даром. До тех пор, пока меня обвиняли в участии в «Народной Воле» и не касались моего участия в «Пролетариате»,—мне нечего было волноваться ни за себя, ни за других.

— Что вы, что вы?—ответил я спокойно. Какой ключ? Какие адреса? Тут какое-то недоразумение. Вы меня, должно быть, принимаете за кого-нибудь другого.

Секеринский умолк, может быть, придумывая, чем бы меня еще ошарашить. В допрос вмешался Арсеньев.

— Зачем вы все отрицаете? Ведь Янчевский сознался во всем и указал на вас. Иначе ведь мы бы ни с того, ни с сего к вам не приставали.

— Какой Янчевский? Я не знаю никакого Янчевского...

— А он вас знает. Я вам повторяю: это он указал на вас.

Арсеньев не врал, как оказалось впоследствии. Янчевский принадлежал к довольно распространенному в то время типу революционеров-крикунов, пускавших простецам пыль в глаза, выдававших себя чуть ли не за главарей революции, все критиковавших, всем недовольных. Но эти герои, попадая в руки жандармов, сразу превращались в «кающихся Магдалин». Таким был Янчевский, этим же чертами отличался и его сподвижник Вацлав Гандельсман и многие другие. Янчевский с первого же момента начал выдавать, точно указывая лиц и их роль в партии.

В числе указанных им был и я. Но я держался в стороне от него и он мог сообщить обо мне весьма немногое.

— Этого быть не может!—ответил я Арсеньеву.—Я фамилии Янчевского даже не слыхал.

— Полноте, что же он ни с того, ни с сего все на вас выдумал?..

— Должно быть...

— Сами себя топите,—вмешался Секеринский.—Вы человек больной. Во время обыска у вашей матери мы нашли свидетельство о вашей болезни. У вас недавно было воспаление легких. Вам надо ехать лечиться, а вы своим отрицанием всего и вся заставляете нас держать вас в тюрьме.

— Не врать же мне из-за этого!

— Вот что,—опять начал Арсеньев.—Я не скрываю... Серьезного обвинения против вас нет... но вы сами осложняете дело...

Я не ответил.

Арсеньев и Секеринский удалились на несколько минут в другую комнату, повидимому, посоветоваться, а затем, выйдя оттуда,

сб'явили мне, что я, как заподозренный в участии в «Народной Воле» и подлежащий за это участие наказанию, связанному с лишением прав, должен быть содержим под стражей, но, принимая во внимание мое болезненное состояние, они сделают представление прокурору Петербургской судебной палаты об освобождении меня под залог.

— Когда же я могу быть освобожден?

— Недельки через две, через три. Как только получится ответ из Петербурга.

Соображения Куницкого оказались верными.

Я возвращался в десятый павильон в самом радужном настроении.

2.

Едва жандарм успел закрыть за мною все засовы в дверях, как стены и потолок моей камеры ожили. Отовсюду раздавался стук, напоминающий телеграф.

Ключ для перестукивания мне был известен, но, тем не менее, я, вследствие быстроты стука, не был в состоянии ничего разобрать. Я отстучал сигнал непонимания и систематически, медленно, с постановкой простучал 2—5—4—3—3—4—короткое, но для меня весьма важное словечко: к т о ? После минутного перерыва стены опять затрещали. Я внимательно прислушивался: 3—4—это о, 1—2—это с. Вместе о с.

В этот момент дверь моей камеры с шумом открылась, и на пороге остановился всегда напоминавший мне гнома заведующий Александрович.

— Что это вы? Со мной перестукиваетеесь?

Я с недоумением взглянул на него.

— Иду по лестнице, а вы тут ко мне в стену и лупите,—продолжал язвить Александрович.—Вот я и пришел.

Оказалось, что одна стена моей камеры выходила на лестницу. Первый блин комом. Но я не смутился.

— Спасибо за указание. Не премину им воспользоваться.

— А вы знаете, что нельзя перестукиваться?!

— Знаю.

— То-то же.

С этими словами Александрович ушел, а я переключал к другой стене и повторил лаконическое «кто».

После долгих мытарств я разобрал ответ:

— Острей-ко.

Лучшего соседа я и не мог желать.

Старый партийник, прошедший русскую школу, осторожный, тихий, степенный, флегматический литвин, Острейко, уже не в первый раз попавший в тюрьму, мог оказать солиднейшую помощь в моей миссии разыскать и завязать связь с Варыньским и Дулембой. На воле слабой стороной Острейко было отсутствие инициативы. Но он выделялся своей необыкновенной аккуратностью и исполнительностью. В тюрьме гораздо большее значение, чем инициатива, имели конспиративность, осторожность и опыт, и о лучшем соседе, чем Острейко, нельзя было и мечтать.

Узнав, кто я, и расспросив, при каких условиях я арестован, Острейко прежде, чем ответить на мои вопросы, проверил, действительно ли это я, или только выдаю себя за такового. Он потребовал указаний, где я его видел в последний раз, а для того, чтобы убедить меня, что и он подлинный, а не поддельный Острейко, простучал мне длинную повесть о том, где и когда мы с ним познакомились.

Эти предосторожности были необходимы. Жандармы часто прибегали к тому, что сажали шпиона в соседней камере для того, чтобы выманить нужные им сведения у сидящего рядом с ним. На этой почве случались и курьезные столкновения.

Арестованный по нашему делу и впоследствии сосланный на каторгу на Сахалин, Поплавский, как только его привезли из Лодзи и посадили в десятый павильон, простучал соседу обычный вопрос:

— Кто?

— Поплавский,—последовал ответ.

Предположив, что сосед уже знает, кто он, Поплавский подтвердил.

— Да, а ты кто?

— Поплавский.

— Я Поплавский, а ты?

— Поплавский,—последовал вторичный ответ.

Не подозревая даже существования другого Поплавского и усматривая во всем этом какой-то подвох со стороны жандармов, возмущенный Поплавский простучал:

— Со шпионами не разговариваю! и больше не откликнулся на стук соседа.

А между тем, рядом с ним был посажен другой, тоже неподдельный Поплавский, сочувствовавший тогда «Пролетариату», затем инициатор и организатор социалистически-народнического органа «Голос», в котором сгруппировались все элементы, недовольные тогда «Пролетариатом»,—Потоцкий, Венцовский, Гласко-Семнецкий, Геринг, Гейльперн и др. С течением времени орган этот все более и более принимал и националистический, и антисемитский характер, а затем главные столпы этого органа—Поплавский, Семнецкий, Балицкий—стались основоположниками ныне прогрессившей своей реакционностью национал-демократической партии.

Убедившись в том, что, как мы впоследствии шутили,—«я—это я, а он—это он», мы условились с Острейко насчет специального ключа для перестукивания, которого жандармы не знали и, следовательно, не могли подслушивать нашей беседы, и отложили дальнейший разговор до сумерек.

Я был радостно возбужден. Дело налаживалось. Я с нетерпением ожидал сумерек, и как только в камере начало темнеть, стукнул в стену. Острейко немедленно откликнулся и начал стучать.

— Слевой стороны печки, на аршин от пола... туннель,—вот его первые слова.

Такого приятного сюрприза я не ожидал.

Я осторожно подошел к указанному месту, ощупал стену, но—увы—совершенно безрезультатно.

Никакого «туннеля» не нашел, и должен сознаться, и не нашел бы его, если бы Острейко стуком с той стороны, в том месте, где он находился, не указал мне его, до того искусно он был замаскирован. «Туннель» был плотно заткнут пробкой из хлеба, снаружи забеленной известкой.

Я вынул пробку и услышал немного сдавленный голос Острейко:

— Здравствуй!

«Туннель» не был сквозной. Он был пробуровлен только с обеих сторон сквозь штукатурку до тростника. Но голос был слышен.

Мы разговорились.

Оказалось, что Варынский и Дулемба сидят вместе в одной камере и что им можно переслать письмо через «почтовое отделение»—место, по природе своей весьма мало предназначенное для

почты, но зато такое, куда жандармы не могли не вести заключенных. В этом не совсем благовоном «почтовом отделении» каждый имел свой «почтовый ящик», т. е. место, где складывалась или, вернее, приклеивалась адресованная на его имя корреспонденция. Острейко дал мне указания, как надо заделать «почтовый пакет»; как его прикреплять и в каком именно месте, чтобы он дошел до Варынского и Дулембы.

Дело было далеко не легкое. Надо было, стоя на корточках на доске, опустить руку в отверстие и хлебным мякишем прикрепить миниатюрный пакетик с запиской снизу—к доске. Все это приходилось проделывать чуть ли не на виду у жандарма, который и в этом злачном месте не переставал наблюдать за заключенным. Но зато «поймать с поличным» жандарм физически не был в состоянии. Стоило ему только шевельнуться в сторону заключенного, как «почтовый пакетик» улетал туда, откуда даже ни перед чем оставливающийся жандарм его не мог достать.

В этот день уже ничего нельзя было сделать.

В сумерки и вечером уже не выпускали заключенных из камер. На следующий день, утром, Острейко должен был предупредить Варынского о том, что я ему напишу ключом, которым он переписывался с Острейко, и только тогда мог и я приступить к выполнению возложенных на меня товарищами на воле поручений.

Я торопился, не пропускал никакой ни «легальной», ни «нелегальной» возможности, уже собрал было даже кое-какие сведения, но вся эта работа была оборвана на полуслове... Незачем было ее продолжать.

В течение нескольких дней все изменилось, и двери моей тюремной камеры оказались наглухо заколоченными на целый ряд лет.

3.

С того времени, как меня допрашивал Секеринский, прошло дней одиннадцать. Я с минуты на минуту ждал обещанного освобождения из тюрьмы. Неудивительно поэтому, что я несказанно обрадовался Секеринскому, когда он вошел в мою камеру. Но достаточно было взглянуть на него, чтобы перестать оболящаться какой бы то ни было надеждой.

Секеринский обдал меня враждебным взглядом; явившийся вместе с ним его громкий сподвижник во всяких гадостях товарищ прокурора Янкулио уставился на меня своими косыми, напоминающими монгольские, глазами.

Я сообразил, что произошло что-то роковое, но не подал виду и, притворяясь наивным, спросил, как ни в чем не бывало:

— Видно, получился ответ из Петербурга?

Глаза Секеринского засверкали злым огнем.

— Да!—прошипел он в ответ,—надо только еще получить ответ на некоторые вопросы.

— Пожалуйста!

— Признаете ли вы себя виновным в том, что вы были агентом Центрального Комитета социал-революционной партии «Пролетариат»?—был первый вопрос, а затем, придерживаясь своей системы огораживания, он начал палить, как из пулемета:—вели ли вы агитацию среди рабочих в Варшаве и Лодзи, печатали ли газету «Пролетариат», принимали ли участие в подготовлявшемся взрыве камеры прокурора, участвовали ли в собраниях в ресторане Бедржицкой?..

Система Секеринского оказалась весьма плохой. Первый вопрос меня действительно огорошил, но последовавшие в таком обилии следующие вопросы сыпались слишком долго... Я успел очнуться и при последнем уже только иронически улыбался... Уткнувшийся в меня Янкулио, человек гораздо более умный и хитрый, чем Секеринский, сразу сообразил, что пулеметные заряды последнего пропали даром, и сухо, холодно, с подчеркнутой официальной сунул мне в руки лист бумаги, сказав:

— Напишите все то, что имеете сказать...

Я взял бумагу и уселся писать. Оба инквизитора сзади меня через мое плечо следили за каждой выводимой мною буквой.

Я понял из предложенных мне вопросов, что моя песенка спета, что при наличии таких сведений у жандармов не выкрутишься, и поэтому каллиграфически начертил:

— Я имею честь быть членом соц.-революционной партии «Пролетариат» и поэтому никаких показаний давать не буду...

Инквизиторы рассвирепели.

— Вот как?—прошипел Янкулио.

— Это мое право, как обвиняемого,—напомнил я блюстителю закона,—и я им пользуюсь...

— Да, да! Это ваше право. Но и у нас есть кое-какие права, которыми мы воспользуемся,—бросая на меня свирепый взгляд, ответил Янкулио. И тут же обратился к сопровождавшему их новому заведующему десятого павильона жандармскому поручику фурса, заместителю Александровича: «Все книги отобрать, переписку с родными воспретить, строго изолировать от остальных заключенных».

— Слушаюсь!

Секеринский все время молчал. Привыкший все делать нахрапом, он совершенно не ожидал такого эффекта своего приема, растерялся и предоставил поле сражения Янкулио. Последний, отдав заведующему распоряжение, взял со стола протокол с моими «показаниями», вложил его в портфель и, величественно повернувшись, вышел из камеры. За ним последовала вся его свита.

Только после их ухода мною овладел ужас, граничащий с отчаянием. Из предложенных мне Секеринским вопросов было очевидно, что все пропало, что жандармам известно если не все, то почти все...

— Откуда?!—Этот вопрос не давал мне покоя. Я буквально, как зверь в клетке, метался по камере. Было ясно, что кто-то предает, кто-то весьма осведомленный, иначе жандармы знали бы одно, другое, но не все.

Я перебирал в памяти всех ответственных товарищей и при каждой фамилии с возмущением отвергал подозрение. Как это ни странно, но только несколько часов спустя я остановился на вопросе: кто арестован, кто уцелел? Я припал к стене соседней камеры.

У Острейко уже были кое-какие, хотя и неполные, сведения. Оказались арестованными: Куницкий, Бардовский, Поль, Кржи-роблоцкий, Пацановский, Остерлоф, Геринг, Гейльперн и мн. др.

Последние два не имели никакого отношения к «Пролетариату», и мне нетрудно было сообразить, что они арестованы только как бывшие уже в ссылке мои родственники.

— А «Олек» (Дембский), «Конрад» (Янович), «Фацетик» (Славинский), «Матуля» (Дзянковская)?

— Дзянковская арестована на квартире Бардовского... Остальные, кажется, скрылись.

Не все, значит, пропало!

Я начал передавать Острейко об учиненном мне допросе, но наш разговор был прерван. Вошел жандарм и «пригласил» меня на прогулку.

Ничего не подозревая, я пошел. Оказалось, однако, что это был подвох. Пока я гулял, у меня в камере перерыли все вещи, забрали все книги и перевели в один из дальних коридоров, где никого, кроме меня, не было.

Фурса в точности исполнил приказание Янкулио.

Я постучал в одну стену, в другую. Мертвая тишина. Попросился в «почтовое отделение», тщательно прощупал все места, годные для «почтовых ящиков». Ничего. Вернулся в камеру. Заняться нечем. Книг не было. Я не сомневался в том, что мне придется просидеть в таких условиях до окончания дела, но, по свойственному мне оптимизму, тут же определил, что это продолжится не более полутора лет, «всего» каких-нибудь пятьсот дней, и со следующего же дня начал отсчитывать дни, проведенные уже в этих условиях.

Но, как оказалось, жандармы не оставили меня в покое. По всей вероятности, Янкулио, бывший тогда товарищем прокурора Варшавского окружного суда, сообщил по своему начальству о неумелом подходе к моему допросу Секеринского, в результате чего ошибку последнего решил исправить прославившийся впоследствии на всю Россию, но тогда еще только товарищ прокурора Варшавской судебной палаты—Турау.

— Разрешите войти...—мягко кланяясь, стоя в ожидании «разрешения» на пороге, спросил он.

— Пожалуйста!

Он вежливо отрекомендовался, попросил разрешения приступить, а затем начал:

— Я к вам, собственно говоря, не официально, а совершенно частным образом. Хотя я и прокурор, но я же понимаю, что нельзя требовать от человека, чтобы он, только потому, что его арестовали, изменил делу, ради которого вчера еще жертвовал всем—и карьерой, и имуществом, и даже жизнью.

Я не перебивал его ни единым словом.

— И я отлично понимаю, почему вы отказались от показаний. Я перестал бы уважать вас, если бы вы поступили иначе, хотя я совершенно не разделяю ваших убеждений. И если бы дело касалось только вас, я бы даже не беспокоил своим посещением. Убеждения—вещь святая! Но дело касается не только вас. Мне очень тяжело вам сообщать об этом, но я должен это сделать. Не как прокурор, а как человек. Вы ведь знаете, что ваш дядя (Гейльперн), ваша сестра и зять (Геринги) недавно вернулись из ссылки. На них падает подозрение... И они арестованы. Я вам обязан со-

общить еще более тяжелое известие. На вашу мать падает подозрение, что она была кассиром партии... И ей придется сидеть до тех пор, пока вы не выясните ее роли в «Пролетариате».

Мне трудно передать, что я почувствовал тогда. Я даже точно не помню, что последовало дальше. Знаю только, что тюремная табуретка оказалась у меня в руке, а почтенный прокурор кинулся, как ошарашенный, к двери с криком:

— Сумасшедший!

Дверь с шумом захлопнулась за ним, а несколько минут спустя ввалилась в камеру целая орава жандармов, схватила меня и потащила в темный карцер.

4.

В карцере я просидел только одни сутки, а затем потянулись скучные, однообразные, серые, как тюрьма, дни. Без жизни, без впечатлений. Все мысли сосредоточены только на одном: что погибло, что уцелело? Обсуждая все обрушившиеся на меня за последние дни события, я в конце концов пришел к более утешительным выводам: не все погибло. Кое-какие ответственные работники уцелели, а затем нетронут рабочий резерв (Адам Серошевский, Форминский, Кмецик, Словик и др.) и интеллигентский (Богушевич, Фельзенгардт, Стржеминский, Разумейчик и др.). Но самым главным было то, что уцелел Дембский. У него были связи с Россией, с находившимися в России «пролетариатцами», бывшими членами «Рады Секретной» («Секретного Совета»). Оттуда придут новые руководители, и работа вновь закипит. Я знал, что «Шмуль» (граф Зотов) не раз выражал желание работать в Польше. О нем Куницкий, и Дембский выражались весьма одобрительно. Придут и другие.

Я приободрился.

На деле оказалось, что я был прав только отчасти. Дембскому (к слову сказать—сделавшемуся ныне, на старости лет, урапатриотом типа Пилсудского) пришлось скрываться, Янович попался в руки жандармов, Славинскому пришлось бежать за границу. Оставались только рабочий и интеллигентский резервы. Но связи между одним и другим не было, и уцелевшей почти полно-

стью рабочей организации пришлось разыскивать интеллигента, который составил бы воззвание по поводу приведенного в исполнение приговора над каким-то шпионом. С течением времени связь между рабочими и интеллигентами при посредстве Дембского наладилась, и работа возобновилась. Но первое время после июльских массовых арестов положение было отчаянное.

Я в то время об этом не знал, и мысль о том, что на воле продолжается работа, придавала мне бодрости. А эта бодрость была пужна. Я был как бы замурован в мертвом склепе, куда не доносился другой звук, кроме лязга засовов в моей же камере. Было невообразимо скучно. Однажды в сумерки я не вытерпел. Взобрался на окно и посмотрел в верхнее, не матовое, стекло. Окно выходило на дворик, куда нас водили ежедневно на десятиминутную прогулку. Мысль о том, что тут же внизу за окном гуляют близкие мне люди-единомышленники, быть может, так же тоскующие по мне, как я по ним, не давала мне покоя. Я уже собирался, несмотря на безумие всей этой затеи, взобраться на окно днем и крикнуть гуляющим, что я здесь. На следующий день я внимательно осмотрел окно и вдруг отражавшееся в открытой внутренней форточке солнце словно осенило меня. У меня было небольшое зеркало. Я схватил его, с ловкостью кошки взобрался на окно и прикрепил зеркальце сверху между двумя оконными рамами. Секунду спустя, я уже сидел в задумчивой позе на кровати и глядел вверх по направлению к зеркалу. Я был счастлив. В зеркале я увидел гуляющих по тропинке садика Варынского и Дулембу... Скуку как рукой сняло. Каждые десять минут в зеркале появлялись другие знакомые и незнакомые лица. Я уже размечтался о составлении полного списка сидевших, но, увы, уже на следующий день жандарм проследил меня в глазок, зеркало было у меня отобрано, а я вновь попал в карцер.

Но и этот короткий «дивергентизм» повлиял на меня весьма благотворно. Гулявшие были бодры. Сидевшие по двое весело разговаривали друг с другом. Я убедился, что дом заключения не так мертв, как могло казаться мне, «изолированному» по распоряжению Янкулио.

Несколько дней спустя, во время прогулки я совершенно машинально поднял валявшийся на земле кусочек ветки. Он оказался вымазанным чем-то липким, и я бросил его на землю с отращением. Но когда я вытирал руку носовым платком, я обратил внимание на то, что это «липкое»—мокрый хлебный мякиш,

каким мы обыкновенно заклеивали почту. Секунду спустя, брошенный мною с отвращением кусок ветки уже оказался у меня в кармане и, как только прогулка кончилась и я вновь очутился в своей камере, я принялся за «расследование». Оказалось, что это не ветка, а обмотанная ободранной с ветки тонкой корой записка, написанная ключом. Концы коры были прикреплены к записке хлебным мякишем. Оказалось, что я стащил чужую корреспонденцию. Это меня мало смущало. Я принялся за изучение ключа и уже на следующий день утром открыл, что записка написана ключом «Дарвин». Прочитав ее, я этим же ключом написал свою записку, в которой объяснил, где и при каких условиях сижу, почему забрал чужую записку, и просил прислать мне этим же путем ответ. Обе записки были готовы, но не во что их было завернуть. На следующий день я сорвал во время прогулки довольно большую ветку и только 24 часа спустя, когда меня вновь повели на прогулку, я незаметно бросил записку приблизительно в том самом месте, где поднял конфискованную мною записку.

Только два дня спустя я нашел ответ... за подписью «Григория» (Куницкого). Он сообщал мне об огромном массовом провале, предупреждал, что кто-то выдает, и высказал мнение, что мне недолго придется сидеть изолированным, так как аресты продолжаются, и мест в десятом павильоне не хватает. Жандармам придется разместить заключенных по всем коридорам.

Читая записку Куницкого, я буквально воскресал. Вновь устанавливалась связь с людьми. Я уж больше не один.

А на следующий день предсказание Куницкого сбылось. В камере надо мной кто-то зашагал. Это оказался член партии «Солидарность»—Пашке,—тот самый, который когда-то смутил меня своей сознательностью и начитанностью. В тюрьме я узнал его с совершенно другой стороны. Узнав, что у меня отобраны книги и что я по целым дням слоняюсь по камере, он решил развлечь меня и, шагая по камере, простучивал мне... всевозможные, иной раз довольно сальные, анекдоты. Я, лежа на койке, слушал, иной раз смеясь вслух, а жандармы недоумевали, почему я вдруг повеселел.

Через Пашке я связался с другими товарищами, и сидение в тюрьме становилось все более и более интересным. Я постепенно узнавал не только, кто и как провалился, но и об основной причине провала—о сумасшествии Загурского. Тем не менее многое продолжало быть и неясным, и весьма подозрительным. В Лод-

зи и Эгерже был арестован целый ряд лиц, причастных к убийству провокатора Франца Гельшера: его брат Ян, Поплавский. Дегурский, Блюх, Петрусинский. Их Загурский не знал. Жандармам было известно об опытах за Новой Прагой с панкластитом и об участвовавших в этих опытах. Этого тоже не мог им сообщить Загурский. Были, следовательно, еще другие провокаторы, шпионы и предатели. Но кто? Вскоре рассеялись и эти сомнения.

5.

— Оденьтесь, за вами приехали, поедете на допрос,—сообщил мне всегда сиявший новый заведующий Фурса.

Это был жандарм недавней формации. До этого он служил в улапах, но там, по его заявлению, карьеры не сделаешь, а в жандармах сразу его произвели в поручики. Карьера была для него и совестью, и принципом, и самой жизнью. Ради нее он старался и готов был на все.

— Незачем мне ехать,—ответил я ему.—Я не даю показаний.

Он был поражен. Как это можно не ехать, если начальство приказало ехать.

— Не поеду, вот и все.

— Как это так? Мы вас тогда силой возьмем!

— Возьмите!

Это была чушь, которая только Фурсе могла прийти в голову. Нельзя было везти связанного по улицам Варшавы.

Фурса сообразил, переменял тон, стал просить, но было уже поздно—я наотрез отказался ехать.

Он пожаловался на меня коменданту цитадели генералу Унковскому.

Этот генерал Унковский был единственным из всех власть-предержащих—человеком. Высокий, стройный, седой, как лунь, старик поражал всех нас своей гуманностью, внимательностью и пониманием психики и нужд заключенных. Независимый по своему положению, он не стеснялся распекать жандармов всевозможных чинов и рангов и всегда заступался за заключенных.

Весьма неумный Фурса, твердо усвоив все заповеди для заключенных, запретил жандармам и солдатам отдавать честь за-

ключенным офицерам на том основании, что всякий попавший в павильон должен забыть, чем он был. Арестованный по нашему делу капитан-инженер Николай Адольфович Люри, не признававший на допросах своей принадлежности к партии, поднял из-за этого бучу и начальнически прикрикнул на Фурсу.

Тот вызвал коменданта.

— Я не был, а я есть офицер,—притворно горячился Люри,—и мне, капитану, поручик позволяет себе делать замечание. На каком основании?—Суда еще не было... Офицерского звания, чинов и орденов—я не лишен. Я этого не допущу.

Унковский признал Люри правым, Фурсе влетело.

В другой раз Фурсе попало за несвоевременный вызов врача к больному заключенному, за недоброкачественную пищу, за недостаточно опрятное содержание камер. Унковский просто недобливал жандармов и с большой симпатией относился к заключенным вообще, к учащейся молодежи—в частности.

Для его характеристики будет нелишне упомянуть, что он, в ответ на предложение генерал-губернатора Гурко присутствовать при казни «пролетариатцев», заявил, что присутствовать не будет и подал прошение об отставке.

Час спустя после моего объяснения с Фурсой, ко мне в камеру вошел Унковский.

— Почему вы отказываетесь ехать на допрос?—мягко спросил он меня.

Я объяснил, что показаний я не даю, а с людьми, которые грибегают к таким приемам, как Янкулио и Турау, я встречаться не желаю.

Он спросил, какие это приемы. Я объяснил. Тогда он вызвал Фурсу.

— Почему вы не донесли, что у г. Кона отняты книги и ему воспрещена переписка с родными?

— Это по предписанию прокурорского надзора, в виду отказа от дачи показаний,—наивно отрапортовал Фурса.

— Сегодня же вызвать в канцелярию и дать возможность написать письмо, а книги я вам сам пришлю,—обратился он ко мне.—Можете итти,—отпустил он Фурсу.

Тот щелкнул шпорами и ушел.

Унковский как будто передумал и позвал его обратно.

— А теперь уж не он, а я вас попрошу поехать на допрос. Сделайте это для меня.

— Для вас? Ладно! Я поеду.

Старик просиял.

— И если вас обижают, обращайтесь всегда ко мне,—добавил он.

Я вышел одновременно с ним. Он проводил меня до извозчика, где уже дожидались меня жандармы.

Всю дорогу я недоумевал, зачем меня, отказавшегося от показаний, могут звать на допрос.

В конце концов решил, что мне это безразлично. Оказалось, что это было для меня далеко не безразлично.

Меня ввели в знакомую уже мне огромную канцелярию. Весь стол был завален всевозможными бумагами, но живого существа в канцелярии не было. Я оглянулся раз, другой. Никого! Тогда я развязно сел на первый попавшийся стул, придвинул к себе лежавшую на столе бумагу и начал читать.

В этот самый момент дверь с шумом распахнулась, в комнату вбежал Янкулио и грубо выдернул у меня из рук бумагу.

— Как смеете читать?..

— А зачем оставляете меня одного?..

Он не возражал, умолк и, как будто из-за его спины, высунулся Пацановский.

С Станиславом Пацановским я учился вместе, начиная с пятого класса гимназии. Это был человек, который в гимназии не пользовался любовью товарищей, хотя в отношениях и с товарищами, и с преподавательским персоналом он всегда был корректен. Он всегда готов был многое сделать для товарища, многое он и делал, но в том, что он делал, не чувствовалось души, наоборот. Чувствовалось то, что называют манерностью. Но в течение пяти лет я не заметил в нем расхождения между словами и делом. Он считал себя поэтом, писал стихи, иногда недурные, но стихи эти никого не трогали, в них не было души. Было время, когда он считал себя патриотом, и его нельзя было ни в чем упрекнуть: он делал все, что полагается делать патриоту. Будучи в восьмом классе, он, как-то вдруг, без всяких переходов, объявил себя социалистом.

Я, пожалуй, лучше других относился к нему. Мне было его жаль. Видя его дела, я считал, что его недооценивают. Но тем не менее этот переход меня поразил, и когда он обратился ко мне с просьбой рекомендовать в наш кружок, о существовании которого он смутно догадывался, я отказал. Это его не смутило. Он обра-

тился к Савицкому. Данных не доверять ему не было никаких, и он попал в кружок. Совершенно так же «безболезненно» он совершил переход от «Солидарности» к «Пролетариату», совершенно не смущаясь вопросом о терроре. Но и при этих переходах он не совершил никакой некорректности. В «Пролетариате» он равным образом корректно исполнял все поручения, иной раз даже отстаивал самые решительные террористические акты, хотя по натуре не принадлежал к храбрым. Но искреннего увлечения в нем не чувствовалось. Как бы там ни было—он был всегда вне каких бы то ни было подозрений и при Куницком сделался «агентом второй степени» Центрального Комитета.

— Зачем вы сидите?—обратился ко мне Янкулио,—ведь вы же больны?

Этот вопрос вывел меня из состояния оцепенения, в каком я находился с момента появления в канцелярии Пацановского.

— Себя об этом спросите! Ведь не я себя посадил, а вы меня.

— Да! Но вы напрасно сами себя губите. Ведь мы и без вас все знаем.

— Все знают,—по-польски подтвердил громко Пацановский.

Я так еще был далек от мысли о возможности предательства с его стороны, что совершенно невольно крикнул:

— Стась! Что ты!

— Я все говорю...—последовал ответ.

— Вот видите,—торжествовал Янкулио,—пора и вам подумать о себе.

— Я не подлец!—вызывающе, глядя на него, бросил я ему в ответ.—Если вы для этого меня вызывали, то можете отправить обратно в павильон.

— Нет! Вы будете присутствовать при допросе Пацановского и убедитесь, что нам все известно и что мы вовсе не нуждаемся в ваших показаниях.

И тут же Янкулио и жандармский подполковник Шмаков приступили к допросу.

Пацановский действительно говорил «все» то, что знал и чего не знал, о чем только догадывался. Говорил подробно, доходил в своих показаниях до таких подробностей, как цвет одежды женщин, принимавших участие в наборе газеты «Пролетариат», говорил о личных интимных отношениях товарищей и т. д., и т. п.

Я слушал молча. Когда он кончил, его увели, а ко мне подошел Шмаков, глупый, ограниченный человек, которого весьма скоро убрали за негодностью.

— Вы думаете, мы вас не понимаем или вам не сочувствуем... Но это все еще преждевременно... Народ еще темный... Давно ли отменено крепостное право?

Я был взбешен всем проделанным надо мной и менее всего расположен слушать жандармские благоглупости.

— Побеседуйте об этом с Пацановским, а меня оставьте в покое.

Меня увели в другую комнату, а затем отвезли в павильон.

О предательстве Пацановского еще никто не знал. Надо было, как можно скорее, всех оповестить. Тотчас по возвращении, я попросился в «почтовое отделение» и написал на стене: «Пацановский выдает», а затем по возвращении в камеру простучал об этом Пашке, который должен был сообщить дальше.

Но моему сообщению не поверили, и, несколько часов спустя, я нашел в «почтовом отделении» надпись: «Кто смеет клеветать на Пацановского?»

Я повторил сообщение и подписался. Только тогда поверили, и, как после сознался Фурса, узнавший от жандармов о сделанном мною сообщении, меня должны были посадить в карцер, но этому помешало непредусмотренное ни жандармами, ни мною обстоятельство.

Все это время я чувствовал, что у меня жар, что я еле держусь на ногах, но я приписывал это потрясшему меня впечатлению от предательства Пацановского. Оказалось, что дело серьезное. Я крепился только до тех пор, пока нужно было передавать роковое известие об измене. Но как только это было сделано, я окончательно расхворался. Что было дальше, не знаю. Повидимому, вечером у меня бросилась кровь к горлу, так как на утро жандармы нашли меня в бессознательном состоянии в луже крови.

III. Предатели.

Больше года прошло с момента моей встречи с Пацановским в камере прокурора, когда я его увидел вновь. Это было уже во время суда. Мы, все двадцать восемь человек, преданных военному суду, смотрели на процесс, как на момент схватки с врагом, были оживлены, возбуждены. Он один был пришиблен, сидел с опущенными долу глазами, бледный, запуганный. Мы встретили жестокий приговор—я бы сказал—даже радостно, уже тогда сознавая, что этим приговором царское правительство возбуждает против себя рабочие массы. Он как бы еще более согнулся... Жестоко с ним поступили жандармы. Выжав из него все, бросили, как выжатый лимон. Он был приговорен к каторге, подал прошение о помиловании, и ему каторгу заменили поселением и отправили в Степной край, куда не ссылали политических. По рассказам, там он и оставался до революции 1917 года, один, оторванный от того мира, с которым был связан в дни юности.

Благодаря этой его изолированности, останется навсегда неразрешенным вопрос, что побудило его стать на путь предательства. Семья ли воздействовала, как утверждали одни, знавшие ее ближе и еще до ареста Пацановского выражавшие удивление, как мог член такой семьи примкнуть к революционному движению. Убедили ли его жандармы, что он, при его способностях и талантности, может принести много пользы на другом поприще, а отказываясь чистосердечно сознаться, он, губя себя, не помогает несколько другим? Струсил ли он перед виселицей?

На все эти вопросы нет и никогда не будет ответа. Остается только факт жесточайшего предательства, в результате которого погиб на виселице молодой дельный рабочий—Ян Петрусинский, о котором жандармы до ареста Пацановского ничего не знали и которого арестовали по его указанию.

Я немного дольше, может быть, чем бы следовало, остановился на вопросе о предательстве Пацановского, так как вопрос о психологии предателей до сих пор совершенно не изучен. А между тем

типы предателей настолько разнообразны, так же, как и моменты, побудившие их к предательству, что следовало бы серьезно заняться этим вопросом.

Я не говорю о тех, которые, «не соразмерив сил с дорогой трудной», охваченные массовым увлечением, приняли участие в движении, а затем, арестованные, перетрусили и, спасая свою шкуру, выдавали. Но даже по одному нашему процессу было несколько человек совершенно другого рода.

Я уже упоминал о Янчевском и Пацановском. Приходится остановиться еще на одном. Это—Вацлав Гандельсман. В гимназии это был неудачник, хотя его нельзя было назвать неспособным. Не буян и не авантюрист, он тем не менее не мог кончить гимназии и все готовился держать на аттестат зрелости экстерном, но по слабхарактерности и неусидчивости намерение это не осуществил. На революционный путь вступил довольно рано, без особых колебаний, тоже, на подобие Пацановского, как-то сразу и неожиданно. Тем не менее его участие в партии не было ни для кого тайной: его выдавала та напускная таинственность, какой он себя сразу окружил. Получалось впечатление, что он сам любит эту таинственностью и рисуется ею перед другими. Сказав что-нибудь кому-нибудь, он непременно предупреждал, чтобы тот этого никому не передавал. Часто сообщал фантастические небылицы, еще чаще намекал на свою громаднейшую и ответственнейшую роль в партии. Все его самолюбие сводилось к стремлению прослыть среди своих великим революционером. В действительности это была довольно мелкая сошка, весьма умело втиравшаяся в среду действительных и крупных революционеров.

Встречи с крупными революционерами были ему нужны для того, чтобы пускать пыль в глаза непосвященным людям. Не дело, а эта пыль его прельщала.

Арестованный, он начал с первого же момента пускать пыль в глаза жандармам, рисуясь перед ними совершенно так же, как рисовался на воле. Янкулио его сразу раскусил и дал ему возможность развернуть во всю свою фантазию. У Пацановского в показаниях можно встретить заявления: «Не знаю, но думаю и т. д.»,— у Гандельсмана—никогда. Он все знал. Кому же знать, если не ему? Он «знал» ключи для сношений и в доказательство излагал целый ряд систем ключей, он «знал» организационное строительство и чертил схему организации, он знал людей и называл их. До поры до времени жандармы притворялись пораженными его величием, по

когда крохи того, что он действительно знал, были из него выжаты, когда жандармы добились от него подтверждения нужных им данных для того, чтобы законопатить людей на каторгу, и когда Гандельсман для того, чтобы как можно дольше сохранить свой престиж, пустился в область чистейшей фантазии, им не для чего было продолжать комедию. Последовал резкий разрыв. Что именно произошло—трудно сказать, но в одно прекрасное утро Гандельсман очутился в карцере и оттуда и стуком, и записками оповещал всех, что жандармы подделали его протокол и что он, возмущенный этим, этот протокол разорвал на куски.

Зная приемы Янкулю, все поверили этому, и только после приезда из киевской тюрьмы Фаддея Рехневского, сообщившего, что жандармы знают кое-какие вещи, которые могли узнать только от Гандельсмана, усумнились в его честности. В это время Гандельсман был уже выслан административно в Сибирь. В десятом павильоне оставались лишь преданные военному суду. Вскоре после этого все сомнения рассеялись. Мы перед судом получили возможность ознакомиться с делом. Оказалось, что все протоколы, не исключая и разорванного, были написаны Гандельсманом собственноручно и что в своем предательстве он строго придерживался определенной системы: выдавал загородных товарищей, сводя до минимума показания о находящихся в десятом павильоне. Этим объясняется то обстоятельство, что к нему до самого последнего момента относились с доверием, так как каждый из нас мог привести данные, известные Гандельсману и неизвестные жандармам. Вся эта «хитрая механика» рухнула, когда мы прочитали его показания. Этот негодяй не предвидел только того, что мы сами прочтем его показания. Разорванный им протокол, якобы подделанный, в действительности же собственноручно им написанный, должен был служить и, к несчастью, продолжительное время служил для него оправданием. Ссылкой на этот разорванный протокол он сбил с толку даже жену Фаддея Рехневского, Витольду Викентьевну, высланную административно из Киева в Сибирь и встретившуюся с партией варшавяк в Москве. Даже она ему поверила. Благодаря всем этим обстоятельствам, он с незапятнанной репутацией приехал в Сибирь и здесь, напуская на себя важность, начал юнцам пускать пыль в глаза, пытаясь проникнуть в местные конспиративные организации помощи ссыльным в побегах. Известие об этом было получено нами уже после суда, в Москве, по пути в каторгу. Пришлось предупредить товарищей, и мы вятером, Рехневский, Дулем-

ба, Мальковский, Люри и я (Варынский и Янович были отправлены в Шлиссельбург, остальные же на Сахалин) разослали в целый ряд пунктов ссылки за своей подписью письма с предупреждением. Гандельсману волей-неволей пришлось сократиться. Но не надолго— всего на несколько лет. Изобличенный, он, по окончании срока ссылки, не мог оставаться в Польше и отправился в Париж. Здесь он опять втерся в местные кружки, и, опытный интриган, весьма умело использовал заграничную склоку. Когда в Париже очутился бывший ранее в ссылке в Ишиме вместе с Рехневской Людовик Савицкий, член партии «Солидарность», о котором я упоминал в первой части своих «воспоминаний»,—человек, знавший все подробности его предательства, и стал уличать его, Гандельсман ухитрился и это отнести на счет эмигрантской склоки и нашел наивных сторонников, которые его поддержали в этом. Но Савицкий, человек кристаллической честности и немного сантиментальный, не мог примириться с тем, чтобы предатель вновь играл руководящую роль. Это не могло не казаться ему кощунством. Он боролся с ним на собраниях и в прессе, клеймя его на каждом шагу. Тогда Гандельсман, подкараулив его в одном из закоулков Парижа, нанес ему пощечину. Немного сантиментальный, как я уже упомянул, Савицкий не перенес этого. Он вернулся домой, написал последнее письмо, изобличающее Гандельсмана, умоляя всех поверить ему мертвому, если не поверили живому, и отравился.

Только тогда колония парижских эмигрантов поняла, с кем, в лице Гандельсмана, имела дело, и он сошел с политической сцены.

Перед началом империалистической войны, ко мне, во Львове, явился брат Гандельсмана, врач Бронислав Гандельсман, с просьбой опубликовать письмо о том, что Гандельсман не был злостным предателем и что поступок его вызван легкомыслием.

Воскрешая теперь, после 37 лет, в памяти все сделанное им, и теперь не могу усмотреть в этом только легкомыслие, а смерть честного, правдивого, идейного Савицкого только еще более усугубляет его преступление. Брат указывал на то, что он мучается...

Пусть мучается...

IV. Инквизиторы.

Известие о моей серьезной болезни, повидимому через врача, проникло и на волю. Переходя из уст в уста, оно искажалось, и по городу распространился слух о моей смерти, дошедший до моей матери, которая, кстати сказать, вовсе не была арестована. За границей в познанских польских газетах появились мои некрологи.

Моя мать, встревоженная этими слухами, добивалась свидания со мной, но в этом ей отказывали. Тогда она обратилась к варшавскому генерал-губернатору Гурко уже не с просьбой, а с требованием, ссылаясь на то, что она в праве знать, жив ли ее сын, или умер.

— Я уверяю вас, что он жив.

— Не верю: если бы он был жив, вы бы его мне показали.

Гурко опешил.

— Ладно, приходите завтра в десятый павильон... Вы его увидите...

И действительно, мать «увидела» меня.

Само собой разумеется, что я понятия не имел о распространившихся по городу слухах и о всех хлопотах матери.

На следующий день меня вызвали в канцелярию. Я уже выздоравливал и ходил даже на прогулку. Ничего не подозревая, я пришел в канцелярию. Оттуда меня повели в комнату с двумя решетками и с деревянными внутренними дверками, отделяющими решетки от остальной комнаты. Меня и сопровождавших меня двух жандармов поместили за второй решеткой, и затем закрыли деревянную дверь.

Я недоумевал, что все это может значить?

— Должно быть, будут показывать шпикам, — мелькнуло соображение.

Этот прием практиковался. Когда арестовали Варынского, его в ратуше показывали всем шпикам и дворникам, чтобы установить, где он жил и где бывал.

Недолго меня продержали жандармы в неизвестности; вскоре за деревянной дверью раздался шум шагов, деревянная дверь вне-

запно распахнулась и я увидел свою мать, окруженную целой сворой всевозможного начальства...

— Вот ваш сын, жив и здоров,—прошипел Янкулио.

Дверь захлопнулась, свидание кончилось. Минуту спустя, меня увели обратно в камеру.

Долго я недоумевал, что сей сон значит. И только после того, как мне было разрешено получение посылок из дома, мне об этом сообщили в письме, написанном химическими чернилами.

Впоследствии я имел уже регулярно один раз в неделю свидания, правда, через две решетки, но уже без таких фокусов, как первое.

Этих свиданий я добился не скоро. Янкулио и Белановский, сменивший Секеринского, еще долго не давали мне покоя. Два вопроса были более оригинальны и о них следует упомянуть.

Первый вопрос происходил в канцелярии десятого павильона. Здесь был собран весь генералитет: известный своей жестокостью, начальник варшавского жандармского округа генерал Брок, прокурор варшавской судебной палаты. Бутовский, какой-то важный чин из Петербурга, Янкулио, Белановский, еще несколько человек штатских и жандармских персон. Меня пригласили сесть за общий большой стол. Допрашивал Бутовский. Он сразу оговорился, что им важно установить лишь одно, что побуждает университетскую молодежь, и, в частности, меня, примыкать к революционному движению.

— Вы человек зажиточный, способный, пред вами вся жизнь, и хорошая жизнь, была впереди... что же вас побудило всем этим пожертвовать?..

Все это было сказано грустным, задушевным, вкрадчивым голосом.

Мне эти вопросы до—смерти надоели, а сладенький голос Бутовского меня все больше и больше раздражал.

— Что меня побудило?—повторил я и затем с соответствующим жестом выпалил:—окружающая мерзость.

Сидевший рядом со мной Янкулио с шумом отодвинулся со стулом от стола и этим как бы резче подчеркнул, о какой окружающей меня «мерзости» я говорил.

Начальство рассвирепело, и в результате я попал в карцер...

Другой вопрос тоже кончился для меня карцером. Он происходил в моей камере.

В момент прихода следователей я вел через туннель разговор с Варпеховским.

Я сидел в первом этаже, он—во втором, не надо мной, а над соседней с моей камерой. Туннель был весьма искусно пробуравлен наискось в мою камеру у самого потолка над печкой. Когда ключ щелкнул, я сильно ударил кулаком в стену, что обыкновенно служило у нас сигнальным знаком тревоги.

В этот раз жандармы пожелали выведать хоть что-нибудь об Александре Дембском. У меня были точные сведения, что он убежал и находится «за пределами их досягаемости». Поэтому я в ответ только подтрунивал над ними...

— Чего вы пристаёте? Добро бы он еще был у вас, а то человек убежал, а вы пристаёте...

— Нет, он у нас...

— Рассказывайте.

В доказательство они показали мне две карточки Дембского, которые я видел еще на воле. Одна была копией с группы, на которой Дембский был снят в полулежачем положении, боком...

— Что же он так развалился?—заметил я, ехидно улыбаясь.

— Он не хотел сниматься и его насильно снимали...

— Вот как... Кто же его заставлял на воле насильно сняться? Я ведь эту карточку видел на воле...

Это не смутило ретивых следователей. Они настаивали на том, что Дембский арестован.

— Да что вы мне рассказываете,—не сдержался я. Если бы он был арестован,—у меня уже давно были бы от него записки...

— Это раньше так было, при Александровиче,—самоуверенно заявил Янкулио,—но с тех пор, как заведует павильоном поручик Фурса, этого нет.

— Блажен, кто верует.

Допрос еще некоторое время продолжался. Убедившись, что никакого толку из этого не выйдет, Янкулио велел старшему жандарму принести перо, чернила и бумагу для составления протокола.

Дверь открылась и вновь с шумом захлопнулась.

Слушавший все время в туннель Варпеховский решил, что следователи ушли... И вдруг, неожиданно для всех, в камере раздался его голос:

— Феликс! Эти обезьяны уже ушли?

Я невольно громко расхохотался, а Янкулио, Белановский и Фурса вскочили, как опшаренные, с мест с криками:

— Где туннель?

— Ищите.

Голос раздался сверху и все начальство ринулось вверх в камеру надо мной.

В этой камере сидело двое рабочих, стариков, арестованных в Эгерже в связи с делом об убийстве провокатора Гельшера, а затем сосланных по нашему процессу на каторгу на Сахалин. Это были Дегурский и Блюх. Они ни с кем не переписывались—один из них был неграмотный—и не перестукивались. Жандармы перерыли у них все вверх дном, требовали указания туннеля, но они, бедняги, даже не подозревали возможности существования туннелей. Тогда вся жандармская орава вновь вернулась в мою камеру...

— Укажите, где туннель?

— Ищите! Я вам не обязан указывать.

— Вы заплатите за это...

— Ведь вы же слышали?

— А вы не слышали?

Жандармы так-таки не нашли туннеля, а всю свою злобу выместили на мне: я был посажен в карцер на трое суток на хлеб и воду.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

„Пролетариаты“.

І. Людовик Варынский.

Х павильон Варшавской цитадели в 1883—1885 г.г. приютил в своих стенах лучшие в то время силы польского революционного движения, лучших представителей весьма разнообразных течений и направлений внутри единой партии «Пролетариат», а сверх того, — представителей рабочей партии «Солидарность» и несколько ксендзов, арестованных за деятельное участие в униатском движении.

Самым выдающимся среди «пролетариатцев» был Людовик Варынский. Он сыграл огромнейшую роль в движении и не перестает быть даже теперь, слишком тридцать лет после его смерти в казематах Шлиссельбурга, авторитетом, изучением взглядов и деятельности которого долгое время занимался такой человек, как покойная Роза Люксембург.

Поскольку мне известно, к сорокалетию партии «Пролетариат» (печатная программа партии появилась в сентябре 1882 г.) должен быть издан на русском языке этюд Розы Люксембург «Памяти Пролетариата», и поэтому я в своих воспоминаниях останавлиюсь лишь на вопросах, не затронутых, либо затронутых лишь вскользь Розой Люксембург.

Роль и значение Людовика Варынского в рабочем движении в Польше могут быть осознаны лишь после ознакомления с движением, предшествующим его выступлению на политическую арену.

В Польше так же, как и в России, до того, как она вошла в фазу капитализма, социалистическое движение носило утопический характер. Прогрессившее на весь мир восклицание Адама Мицкеви-

ча, брошенное пале на аудиенции в 1848 г.: «Знай, что дух божий ныне обитает в блузах парижских рабочих», так же, как лозунг утопического социалиста ксендза Петра Сцегенного: «Шляхта—это плывля, крестьяне—это зерно» были выражением индивидуального настроения отдельных личностей, оторванных от массы и до того не отдававших себе отчета как в соотношении сил, так и в социальных стремлениях отдельных слоев общества, что Сцегенный во главе свободных крестьянских общин думал поставить... ксендзов в качестве опекунов и правителей. Мицкевич, Сцегенный и многие другие, в частности, Ворцель и Лелевель, фактически додумались до всевозможных социалистических мистических утопий, ища средств «спасения отчизны», и от патриотизма переходили к этому своеобразному социализму. Восстание 1861—1863 г.г. и наделение польских крестьян землею русским царизмом, парализовавшее на продолжительное время всякие утопические мечты о вовлечении крестьянских масс в какое бы то ни было движение, возглавляемое выходцами из шляхетской среды, толкнуло польскую эмиграцию шестидесятых годов на другие пути. В 1866 г. в Женеве появляется первый социалистический орган «Gmina» («Община»), одним из участников которого Валериан Мрочковский, личный друг Бакунина, следующим образом формулирует на с'езде «Лиги мира и свободы» в 1898 г. в Берне задачи польской социалистической партии:

«Я выступаю перед вами, граждане, от имени новой партии, от имени польской социал-демократии, со знаменем народной Польши, со знаменем социальной революции, гласящим, что вся земля должна принадлежать тем, кто ее собственными руками обрабатывает, а орудия труда—рабочим ассоциациям. Мы не требуем восстановления прежнего государства, не требуем исторических прав Польши, мы стремимся основать свое национальное право, право на самостоятельность и право свободного распоряжения своей судьбой на принципе справедливости и свободы. Не ставя вопроса о границах будущей народной Польши и уважая права всякой национальности, независимо от того, входила ли она или не входила в состав прежней Речи Посполитой, мы заявляем, что будем вести неумолимую борьбу против всех врагов нашей отчизны».

На это сочетание весьма туманного социализма с весьма определенным национализмом мы обращаем особое внимание читателей, так как именно с этими явлениями и приходилось бороться Варышскому, так как именно в этой области ему удалось достигнуть огромных результатов.

Я не останавливаюсь на дальнейшей эволюции взглядов тогдашней польской демократической эмиграции, так как эта эволюция была прервана величайшим событием того времени—Парижской Коммуной.

Все, что было лучшего в эмиграции, приняло участие в Коммуне: Ярослав Домбровский, Валерий Врублевский, Околович: известный поэт Карл Свидзинский, Чарновский, Барановский, Теофил Домбровский, Бабинский и др. Многие из них пали в борьбе, многие расстреляны (Каменецкий, Верницкий, Микульский и др.), многие сосланы на каторгу, в том числе Казданский, обвиненный в убийстве генералов Леконта и Тома.

Парижская Коммуна и участие в ней искренних демократов с оттенком утопического социализма не могла не отразиться на идеологии предвозвестников социализма в Польше, хотя, само собой разумеется, не могла сразу способствовать исчезновению националистического элемента. Возникшее в 1872 г. «Польское Социал-Демократическое Сообщество» в своей программе признавало труд «единственным регулятором роста и распределения благ, капитал—исключительной собственностью производителей и землю—общим источником благосостояния сообществ и общин, обрабатывающих эту землю». «Воля народа—гласит программа,—выраженная в том, что каждая община должна считаться с голосом каждого ее члена, а голос каждой общины должен быть уважаем более широкой организацией, и является единственным фактором, решающим судьбу этих отдельных коллективов в вопросах их международного сожителства с соседями».

Эта вычурная и туманная формулировка бакунинских идей в польском преломлении вполне уживалась с патриотическими тенденциями. «Первой—гласила программа—и неукоснительной обязанностью является свержение и уничтожение чужеземной опеки над землями, силой захваченными Россией, Австрией и Пруссией. Эта цель может быть достигнута лишь путем социальной революции». Окончательной целью своей деятельности «Сообщество» ставило преобразование условий в странах, входивших в состав Речи Посполитой,—в Польше, Литве и Украине, и введение таких, которые не оскорбляли бы ни разума, ни совести, ни справедливости.

В этом «Сообществе» принимал участие и Бакунин, вскоре разорвавший с ним связь по вопросу о государственности, которая в понимании членов «Сообщества» простиралась до границ 1772 г. Само это «Сообщество» существовало весьма недолго. Его оконча-

тельной гибели способствовал Адольф Стемпковский, шпион, проникший в организацию, прославившийся впоследствии тем, что предал Нечаева в руки швейцарской полиции.

После подавления Парижской Коммуны уцелевшие от разгрома эмигранты-поляки не свернули социалистического знамени. В частности, самый выдающийся среди них, генерал Коммуны—Валерий Врублевский, бежавший в Лондон, сблизился здесь с Марксом и Энгельсом, вошел в состав Главного Совета Первого Интернационала, в качестве представителя Польши, и основал в 1872 г. новую социалистическую партию—«Люд польский», так же, как и прежние партии, усматривавшую в социализме не цель, а средство. Во время празднования в 1876 г. годовщины восстания 1831 г. Врублевский в речи подчеркнул, что «в настоящее время только социал-демократическое знамя может быть знаменем нашей дорогой отчизны». Более четким выразителем «патриотизма в социализме» был живущий еще поныне Болеслав Лимановский, лассалианец, с которым, как увидим, также приходилось Варыньскому вести в течение многих лет упорную борьбу.

Все эти идейные течения, о которых мы говорили до сих пор, имели лишь постольку значение для рабочего движения в Польше, поскольку будущие инициаторы и руководители движения могли, подчинившись их влиянию, перенести их в рабочие массы. Эти рабочие массы в то время переживали только первоначальный период развития капитализма в Польше и, с одной стороны, под влиянием реакции, наступившей после подавления восстания 1863 г., с другой,—продолжая находиться под влиянием националистических и религиозных течений, еще не созрели для революционной классовой борьбы. Этим парализовалась опасность занесения «социал-патриотизма» в ряды польского пролетариата, не говоря уже о затруднениях полицейского характера, устранявших в то время почти всякую возможность общения между эмиграцией на Западе и рабочим классом в Польше.

В этом отношении в несравненно лучшем положении находилась «эмиграция» на Востоке—польская молодежь, учащаяся в русских учебных заведениях. Эта молодежь в своем большинстве именно в России попадала в среду тех «патриотов» для домашнего обихода, но на деле чистокровнейших карьеристов, о которых я уже говорил в первой части своих «Воспоминаний», которая ее, по тогдашнему питерскому выражению, «об'езжала»—обрабатывала, по своему «образу и подобию». Но и среди этой молодежи не могли

не найдись революционные «уроды», без которых и семья не обходится, а что уж говорить о группах молодежи, сталкивавшейся на каждом шагу с революционно настроенной русской молодежью. Неудивительно, что в силу этого, начиная с 1874 года, в русских университетских городах появляются кружки польской революционной молодежи, принимающие участие сначала в русском революционном движении, а затем вынужденные проходить такую же революционную работу и в Польше. У этой молодежи, само собой разумеется, не могла, по крайней мере на первых порах, рассеяться ненависть к «москалю». Одним из самых выдающихся среди этой молодежи был Людовик Варынский.

Исключенный в 1875 году вместе с Александром Михайловым из Технологического Института в Петербурге за участие в студенческих беспорядках и высланный на год на родину, на Украину, он по истечении срока высылки переехал в Варшаву.

В это время в Варшаве среди более революционно настроенной молодежи преваляло патристическое направление, возглавлявшееся Адамом Шиманским, приобретшим впоследствии громкую известность своими очерками из жизни повстанцев в Сибири. Варынскому, как идеологу социальной революции, противопоставляемой им национальным восстаниям, пришлось столкнуться с Шиманским. Победа осталась за Варынским, чему способствовало то, что действительный патриотизм в то время не находил уже отклика в массах, а Шиманский, Поплавский и другие участники этой группы еще не додумались до лозунга Пилсудского: «Пролетариат для независимости, а не независимость для пролетариата».

Варынский, державший с первого же момента своего появления в Польше курс на рабочий класс, поступает в качестве слесаря на фабрику «Лильпоп и Рау» в Варшаве и здесь впервые входит в контакт с рабочими, знакомится с их жизнью и впервые же испытывает свои силы в качестве пропагандиста. Эту работу ему пришлось прервать на полуслове. Он подлежал воинской повинности. Для того, чтобы избежать солдатчины, Варынский бросает фабрику и поступает в Пулавский (Ново-Александрийский) земледельческий институт. Но работа только среди молодежи его не удовлетворяет, он бросает институт, переходит на нелегальное положение, поселяется в Варшаве под фальшивым паспортом «слесаря Яна Буха» и принимается за работу.

Отдавая себе ясный отчет в том, что рабочие массы вначале могут быть вовлечены в движение только на почве их текущих по-

ежедневных интересов, Варынский, знакомый с западно-европейским рабочим движением, пытается положить в Польше начало обсуждавшимся тогда на съездах Интернационала «кассам сопротивления» (Caisses de résistances», Widertankassen»), предтечам профессиональных союзов. В эти основываемые Варынским кассы сопротивления входило не свыше 15 человек рабочих, плативших копеечные взносы в забастовочный фонд для борьбы с капиталом. Каждая такая касса избирала «представителя». Эти «представители» на заседаниях обсуждали все дела.

Идея Варынского нашла живой отклик среди более развитых рабочих. В сравнительно короткий промежуток времени число членов этих касс достигло 300. Это по тому времени, несомненно, большое число не могло, конечно, по своей мизерности играть какой бы то ни было роли в борьбе труда с капиталом, вследствие чего фактически «кассы сопротивления» превратились в кружки пропаганды. Дискуссия по вопросу об организационном строительстве, в частности по вопросу о централистической или федералистической организационной системе, была прервана в августе 1878 г. жандармами, нагрянувшими, на этот раз безуспешно, на квартиру Буха-Варынского, где должно было происходить собрание рабочих. Варынский и его квартиранты Людвиг Кобылянский и Ян Томашевский скрылись.

Уцелевший от ареста и остававшийся еще полтора месяца в Раршаве Варынский, по настоянию товарищей, переезжает в Львов. Здесь он застаёт кружок социалистов, в состав которого входили наборщик Антон Маньковский, известный поэт Болеслав Червинский (автор «Красного знамени»—известной революционной песни, переведенной и на русский язык) и Иосиф Данилюк—украинец, наборщик, редактор еженедельника «Труд» («Praca»)—профессионального органа наборщиков. Варынский принимает участие в этом издании, изменяет его характер и направление, преобразовывает его в орган, «посвященный интересам трудящихся классов», пытается «революционизировать» львовских социалистов, грешивших чрезмерной осторожностью и в своей деятельности считавшихся на каждом шагу с «законом», «конституцией» и т. д.; но слишком деятельный для львовских условий, он обращает на себя внимание полиции и во избежание ареста переезжает в Краков.

Здесь он является первым сеятелем социализма на еще совершенно нетронутой девственной ниве и для своей излюбленной идеи «международной социальной революции» он и здесь находит горя-

чих борцов, но так же, как и во Львове, ему приходится недолго работать. В феврале 1879 года он попадает в руки «конституционной» польско-австрийско-патриотической полиции. Следствие продолжается целый год, но Варынский и в тюрьме не остается бездеятельным. Он издает здесь рукописный журнал «Скрежет Узника».

В феврале 1880 года начался суд над Варынским и 34 обвиняемыми, продолжавшийся два месяца и сильно способствовавший популяризации социализма не только среди галицийских, но и вообще среди польских рабочих. Во время судебного следствия и в речи на суде Варынский, сразу и здесь выдвинувшийся в качестве лидера, формулирует свои тогдашние взгляды, не лишённые бакунистского налета:

«Наша программа намечает целью экономическое освобождение трудящихся масс, оставляя в стороне политические вопросы, которые будут решены уже после решения экономической проблемы». «Что касается политического строя будущего общества, то этого столь отдаленного вопроса предрешать нельзя, но я полагаю, что это будет союз свободных общин». Относительно грядущего социального переворота Варынский высказывает мнение, что он не может быть произведен в каком-нибудь одном государстве. Политический переворот, по его словам, может при известных условиях быть произведен и в одном государстве, но экономический (!), к которому мы стремимся, не мыслим в одном государстве, уже хотя бы потому, что соседние государства этому воспрепятствуют. Такой переворот может быть только всеобщий.

Оправданный судом присяжных, но изгнанный из пределов Австро-Венгрии, Варынский переселяется в Женеву и здесь на столбцах «Равенства» («Równosc»), вместе с Казимиром Длуским (ныне социал-патриотом), Станиславом Мендельсоном (после многих лет революционной деятельности изменившим социалистическому знамени и кончившим жизнь на посту редактора еврейской националистической газеты на польском языке) и др., ведет ожесточенную борьбу с социал-патриотизмом, уже тогда, под руководством живущего еще поныне Болеслава Лимановского, раз'едавшим ряды социалистов.

Здесь не место воспроизводить все перипетии этой борьбы. Я остановлюсь лишь на одном моменте, вызвавшем в то время необыкновенное возбуждение и в лагере социал-патриотов, и среди так называемой интеллигенции.

В Польше весьма распространено празднование всевозможных исторических годовщин: «конституции 3 мая», «всех восстаний» и т. п. Пепеэсовцы до сих пор оскверняют память «Пролетариата» своим празднованием годовщины казни «пролетариатцев».

Само собой разумеется, что пятидесятилетие восстания 1830—1831 г.г. праздновалось, в особенности эмигрантскими кружками за границей, с особым торжеством.

Этот именно момент был избран Варыньским и его единомышленниками для того, чтобы противопоставить социализм патриотизму, интернационализму—шовинизму.

Было организовано торжество в Женеве, на которое были приглашены социалисты всех национальностей и государств. «Долой патриотизм и реакцию!», «Да здравствует Интернационал и социальная революция!»—вот лейтмотив всего торжества, всех речей, произнесенных польскими социалистами на этом торжестве.

На приглашение польских товарищей откликнулось до 500 иностранных социалистических деятелей. Маркс, Энгельс, Лафарг и Лесснер прислали письмо с приветствием, в котором, между прочим, было сказано:

«Ныне, когда пролетарская борьба ведется и самим польским народом, пусть эта борьба поддерживается пропагандой и революционной прессой, пусть она объединится с усилиями наших русских братьев. Это будет еще одним поводом для того, чтобы повториться прежние возгласы: «Да здравствует Польша!»

Варыньский, прекрасно изучивший патриотическую и социал-патриотическую среду и ее приемы, сразу сообразивший, что противники интернационального течения пройдут мимо содержания приветствия Маркса и ухватятся только за приведенный им прежний лозунг, в речи своей обратил специальное внимание на этот лозунг и отверг его целиком. В Польше возглас «Vive la Pologne!» сочетается с возгласом «Repeat Mōsqua!» Собравшиеся же на торжество находят, что лозунг «Да здравствует Польша!» растворился и исчез в горниле классовой борьбы, они не признают и лозунга ненависти по отношению к России.

В отчете об этом праздновании этот момент оттенен еще более четко, при чем авторы с пророческим ясновидением предсказывали то, что случилось 40 лет спустя, когда сбылись мечты шляхетских и буржуазных отцов и дедов.

«Не независимость Польши—гласит отчет—нужна народу, а о р у д и я т р у д а, и он получит их не от московского, прусского,

австрийского или польского правительства, а завоеует их, защищая свои интересы». Если бы польскому рабочему народу ныне бросить лозунг: «Да здравствует Польша!», хотя бы и «демократическая» и даже «социальная» (социалистическая),—то содержание и значение этого лозунга будет понятно разве только горсточке рабочего люда, масса же увидит в этом лозунге лишь новый призыв к восстанию. Движение углубляется и принимает широкие размеры. И тогда наши привилегированные классы, у которых начнет колебаться почва под ногами, постараются захватить движение в свои руки. «Ведь и они—поляки, и им польская отчизна дорога»... И из нашего лозунга сначала исчезнет слово «социалистическая» а затем и «демократическая». И все это во имя «общего блага», во имя блага «общего отечества».

Для характеристики взглядов Варынского и его тогдашних единомышленников необходимо обратить внимание и на характерное противопоставление требований «независимости Польши» и «орудий труда». В этом противопоставлении сквозит не только отрицательное отношение к борьбе за освобождение от чужеземного ига, но и вообще к политике. Это и отвечало действительности и сближало этот лагерь польских социалистов с «Черным Переделом», с Плехановым, Аксельродом, Дейчем, Верой Засулич и Стефановичем. В журнале «Равенство» ¹⁾ мы находим следующий отрывок: «В наших отчетах о социалистическом движении в России мы говорили до сих пор почти исключительно о деятельности партии «Народная Воля». А между тем нельзя себе составить полной картины движения, если оставить в стороне деятельность другой партии («Черного Передела»), которая остается на почве социализма и считает главнейшей целью своей деятельности овладение землей и орудиями производства».

Эта характеристика совпала с моментом расцвета деятельности «Народной Воли», геройская борьба которой не могла не поколебать мирозерцания польских социалистов. Мендельсон и Длуский весьма скоро переменили фронт; Варынский, по свидетельству Мендельсона, дольше других не мирился с «политикой».

Объясняется это в значительной мере тем, что в то время Варынский, так же, как и знаменитый автор брошюры: «Кто чем живет?», Дикштейн-Млот, еще окончательно не отрешились от анар-

¹⁾ Двойной номер 6—7 за март и апрель 1880 г.

хизма, на что указывает отправленное ими приветственное письмо съезду анархистов в Лондоне 14 июля 1881 г.

Но и это письмо и это отгораживание социалистической партии от участия в политике были уже последними тучами прошлого.

Чуть ли не месяц спустя, когда группа Лимановского сплотила воедино все оттенки социал-патриотизма и ею было издано программное «воззвание социалистического сообщества «Люд Польский», Варынский уже выступает, как марксист. Он упрекает «Люд Польский», что он «ставит в одной плоскости национально-политическое и экономически-социальное освобождение». Первое было бы допустимо только как ближайшая цель, как программа минимум. Но даже и в этом понимании ложна вся постановка вопроса: «Формулируемая социалистами программа-минимум, исходя из повседневной борьбы с капиталом, ставит себе целью не «национальное возрождение, а расширение политических прав пролетариата, создающих почву для *м а с с о в ы х* (курсив мой) организаций для борьбы с буржуазией, как политическим и социальным классом. А если условия и у нас заставят социалистов выдвинуть какую-нибудь ближайшую цель, как, напр., в Галиции, то основным принципом, которым следует руководствоваться, является: обособленность классовых интересов пролетариата, ежедневная борьба с капиталом, организация во имя интересов пролетариата».

Эти же мысли развивает Варынский на международном конгрессе в Хур (в Швейцарии) 2 октября 1881 г., но в речи его на этом съезде уже чувствуется отражение влияния «Народной Воли»:

«Если в Польше существует исключительный политический гнет, то его влияние может сказаться исключительно на характере борьбы, вызывая террористическую деятельность в борьбе с деспотическим правительством. Однако, польский пролетариат, вступив на путь социализма, имеет перед собою другую цель: подготовиться не к национальному восстанию, а к социальному перевороту путем пропаганды, агитации и организации сил в области как политической, так и экономической».

Усилия Лимановского отстоять свою позицию не увенчались успехом на конгрессе. Принятая тогда резолюция гласит:

«Принимая во внимание, что борьба за освобождение является классовой, а не национальной борьбой, конгресс переходит к очередным делам по вопросам, возбужденным польскими делегатами».

Еще меньшим успехом мог похвастаться «Люд Польский» в самой Польше. В то время, как интернационалисты, резко выдвигая классовые антагонизмы, пустили глубокие корни в рабочие массы, социал-патриоты, сглаживая углы классовой борьбы, могли найти сочувствие только среди горсточки интеллигенции. Всему этому периоду подвела окончательный итог партия «Пролетариат», во главе которой, как ее идеолог, вождь, организатор и трибун, является все тот же Людовик Варынский.

Переживший все первоначальные фазы рабочего движения в Польше и поддерживавший вместе с тем контакт с международным движением на Западе и с народовольческим и чернопередельческим движением в России, Варынский приехал в Польшу в декабре 1881 года с готовым уже решением создать строго централизованную организацию, способную воздействовать на массы и вести борьбу в интересах рабочего класса.

С его появлением в Варшаве курс на массы проявляется на каждом шагу. Варынский немедленно после приезда разыскивает уже ранее привлекавшихся по делу о социалистической пропаганде рабочего-мыловара Генрика Дулембу, кандидата прав Казимира Пухевича и других выдающихся рабочих и интеллигентов, устанавливает через них связь с фабриками, получает ежедневно известия о малейших столкновениях рабочих с фабрикантами и стремится все эти столкновения направить в определенное русло.

В первой части своих «Воспоминаний» я уже говорил о столкновении на Варшавско-Венской жел. дороге в апреле 1882 г. Сгруппировавшимся тогда вокруг Варынского кружком было издано воззвание, из которого мы приводим лишь самые характерные места:

«Наше коллективное выступление имело целью устранить самые яркие злоупотребления дирекции жел. дороги. Мы требовали изменения устава кассы, более справедливого страхования, восстановления прежнего уровня заработной платы, удаления служащих, вызывавших озлобление своим грубым и бесчестным обращением с нами, принятия вновь на работу уволенных товарищей».

В момент конфликта и управление жел. дорог, и власти обещали удовлетворить все эти требования, но после того, как рабочие вернулись на работу, эти обещания не были сдержаны.

Указав на необходимость длительной и упорной борьбы, авторы воззвания, выражаясь современной терминологией, призывают к использованию «легальных возможностей», к участию в вы-

борах в кассы страхования, указывают кого следует выбирать в эти кассы, останавливаются на вопросе о шпионах, пробирающихся в рабочую среду и заблаговременно сообщающих врагу о всех намечаемых рабочим классом мерах борьбы.

«Со шпионами и со всеми теми, которые действуют нам во вред, надо управиться потихоньку, без свидетелей, устраиваясь так, чтобы не было никаких улик, и тогда не мы их будем опасаться, а они нас».

Авторы воззвания ограничиваются этим указанием, не возводя пока в принцип террора ради самообороны. Это был лишь ответ на требования данной группы рабочих.

Эту группу гораздо более смущало отношение к инциденту польской прессы, всегда оппозиционной, между строк жаловавшейся на тиски цензуры, насквозь проникнутой любовью к отчизне и выдававшей себя за защитницу интересов «всего народа», без различия сословия и классов.

«Мы видели,—отвечает воззвание на недоумение рабочих,— как подло обрушились на нас наши газеты за то, что мы не давали себя грабить и унижать. Повидимому, совесть этих господ, подобно телу проститутки, принадлежит тому, кто за нее заплатит. Мы и не желаем, и не можем ее купить. Ответим же им тем презрением, какого они достойны».

Посредником в конфликте между польским капиталом и польским трудом явились русские жандармы, пытавшиеся было разыграть роль стража справедливости и блюстителя интересов угнетенных.

Воззвание предостерегает рабочих и от этой опасности.

Лицемерная роль жандармов не могла не ввести в обман. «Мы знаем, сколько людей из нашей среды они угнетали в тюрьмах и тундрах Сибири только за то, что они так же, как и мы в настоящее время, призывали трудящихся на борьбу с эксплуататорами. Кнут—это их отличительная черта, это цель их существования».

Здесь мы уже видим наряду с воздействием на массы в текущей жизни и попытку использовать все «легальные возможности» в виде выборов во все доступные для рабочих учреждения и в отличие от «Народной Воли»—проведение грани между рабочим классом и буржуазией.

С классовой почвы «Пролетариат» никогда не сходил, и это именно обусловило и необходимость борьбы с патриотизмом, вы-

ступавшим под лозунгом «национального единства», возглавляемого господствующими классами.

В программном воззвании «Пролетариата», составленном Варыньским при участии Пухевича, изданном сначала в Варшаве в виде гектографированного листка, а затем в сентябре 1882 г. перепечатанном за границей, мы находим следующие характерные места:

«Наше (польское) общество носит на себе характерный отпечаток буржуазно-капиталистического строя, но отсутствие политической свободы придает ему изможденный и болезненный вид».

«Национально-политическая зависимость нашей страны от завоевателей, на-ряду с экономическими и общего характера политическими условиями, способствовала тому, что в рабочем классе Польши, вовлекаемом в национальные движения с целью свержения чужеземного ига, путем обмана лозунгом «национального движения» убивалось классовое самосознание».

«Ослепленные национально-религиозной ненавистью, рабочие шли под знаменем привилегированных классов, совершенно упуская из виду свои собственные классовые интересы».

В то же самое время крестьянство, наделенное землей, по политическим соображениям, в целях ослабления шляхты—щедрее, чем русское крестьянство, позволило обмануть себя правительству, которое лицемерно выступило в качестве защитника его классовых интересов. «Освобождение от влияния привилегированных классов, правительства и национальных традиций»—вот первейшие задачи, намеченные этим программным воззванием.

Для характеристики совершившихся перемен во взглядах Варыньского приводим еще один отрывок, свидетельствующий о том, что прежний анархический налет совершенно рассеялся. Программа гласит: «Земля и орудия производства должны быть изъяты из частных рук и перейти в общую собственность трудящихся, в собственность социалистического государства».

Не останавливаясь на дальнейшем развитии мирозерцания Варыньского и на значении его, как идейного руководителя партии «Пролетариат», я позволю себе интересующимся этим вопросом рекомендовать весьма ценную в этом отношении работу покойной Розы Люксембург: «Памяти Пролетариата» и перехожу к обрисовке других характерных черт Варыньского.

Прекрасный организатор, быстро ориентирующийся и каким-то чутьем улавливающий и массы, и отдельных лиц, чутьем же узнающий людей и умеющий подобрать для каждого дела соответ-

ствующих работников, Варынский за все время своей деятельности не упустил ни одного момента, которым можно было воспользоваться для воздействия на более широкие массы рабочих. Я уже говорил о роли «Пролетариата» и, в частности, о роли Варынского в тот момент, когда власти в Варшаве издали распоряжение о санитарном осмотре всех женщин, работающих на фабриках. В тот момент Варынский предстал перед нами в совершенно другой роли— в роли вдохновенного вождя, за которым мы, рядовые революционеры, готовы были ринуться в бой, не считаясь ни с чем, даже не думая о том, следует или не следует поступать так в тот момент. Варынский в такие моменты, не отдавая себе отчета в этом, становился диктатором.

Александр Дембский, после ареста Варынского, один из лидеров партии, сказал мне после одного из таких выступлений Варынского: «если бы он позвал идти сейчас же вместе с ним на баррикады, я бы не колеблясь пошел».

И это отношение к Варынскому замечалось не только в людях, находившихся в непосредственном общении с ним. Мне приходилось видеть Варынского на собраниях молодежи и рабочих, в первый раз видевших и слышавших его... Он с первых же слов привлекал к себе внимание всех и после 10—15 минут уже настолько овладевал вниманием слушателей, что мог делать с ними буквально, что угодно. Впоследствии, в X павильоне Варшавской цитадели, мне пришлось наблюдать отношение к нему прокуратуры, жандармских офицеров, простых жандармов... И они все склоняли головы перед ним. То же повторилось и на суде. И председатель суда генерал-лейтенант Фридрикс, и член суда—кровожадный Стрельников, родной брат убитого русскими революционерами Стрельникова, и военные прокуроры, и даже палач Польши генерал-губернатор Гурко относились к Варынскому весьма почтительно, не позволяя себе по отношению к нему ни резкого слова, ни замечания. Это в особенности бросалось в глаза во время речи Варынского на суде. Все, не исключая Гурко, словно замерли на месте. Варынский говорил более полутора часов:

«Мы не стоим над историей, а подчинены ее законам. На переворот, к которому мы стремимся, мы смотрели, как на результат исторического развития и общественных условий. Мы предвидим этот переворот и делаем все, чтобы он не застал нас неподготовленными».

Теперь это старо, шаблонно, хотя еще многими не осознано.

В то время—в декабре 1885 года, когда еще происходили горячие споры «о роли личности в истории», о «героях и толпе», к этим словам внимательно прислушивались все три присутствовавшие на суде элемента: и подсудимые, и представители польского общества в лице адвокатуры, и присутствовавшие при его речи, высшие представители русских властей в Польше, с Гурко во главе.

О подсудимых говорить не приходится. Для нас Варынский в то время был тем, чем в настоящее время является для всех нас Ильич. Адвокатура на момент как бы забыла о том, что нас отделяет от нее не только решетка, но и глубокая пропасть классового антагонизма; она бросилась к нему, жала ему руки, чуть не выражала солидарность.

А власти учли его мощь и силу и сделали соответственный вывод. Отправка его в Шлиссельбург на верную смерть—у него было начало туберкулеза—была решена.

Варынский знал о грозившей ему участи. Но это его не смущало. «Лишь бы давали курить»,—шутил он, когда кто-нибудь затрагивал этот вопрос.

Казнь Куницкого, Бардовского, Осовского и Петрусинского,—казнь, совершенная через 42 дня после вынесения судом приговора, подействовала на всех нас, как удар грома. В Варынском в первый же момент она вызвала возбуждение борца. Когда мы собрались и составили получившее широкую огласку второе письмо осужденных к товарищам на волю (первое было написано немедленно по окончании суда),—Варынский повторил свое знаменитое когда-то, еще на воле произнесенное:

«Желалющие борьбы—будут ее иметь!»

Он уже тогда предсказал, что воздвигнутые царизмом четыре виселицы станут знаменем для пролетариата Польши.

Неделю спустя нас всех перевели из 10-го Павильона в уголовную тюрьму «Павияк».

Здесь нас заковали, обрили нам пол-головы...

Варынский, побрякивая кандалами, запел написанную им еще в 10-м Павильоне «мазурку кандальщиков», другие подхватили... И понеслась вдаль, как предсказание будущего, песня, которую, придет время, как гласило ее содержание,—должна запеть «половина Польши», бросая «вместо венков... головы палачей на могилы погибших».

Прошла еще неделя—и Варынского и Яновича увезли в Шлиссельбург. Там он после нескольких лет мук и страданий погиб; там же, где-то на берегу Ладогои, похоронен под грудой щебня.

Царизм пытался спастись Шлиссельбургом от Варынского. Не спасся. И память о Варынском и его идеи жизни в пролетариате Польши.

Роль Варынского в польском социалистическом движении настолько велика, что данную мною характеристику я считаю необходимым дополнить статьей шлиссельбуржца же, осужденного во делу «Пролетариата» Людовика Яновича, напечатанной в 1898 г. в «Przedswit'e»—органе ИРС. При этом необходимо оговориться, что Янович, по освобождении из Шлиссельбурга, благодаря оторванности от жизни в течение двенадцати лет, весьма плохо ориентировался в событиях, а редакция могла внести в его статью и «редакционные» исправления.

Статья, не подписанная Яновичем, носит заглавие:

Л. Кобылянский и Л. Варынский.

Из воспоминаний шлиссельбуржца.

«В 1884 г., по инициативе министра юстиции (внутренних дел?) гр. Толстого была устроена в Шлиссельбургской крепости тюрьма для приговоренных по политическим делам к тяжчайшим наказаниям, главным образом для лиц, осужденных за участие в покушении на царя. Тюрьма была предназначена для терроризирования террористов. Высшая администрация совершенно не скрывала того, что ее целью было сделать из тюрьмы могилу и похоронить в ней еще живых людей до тех пор, пока смерть не захватит уготованную для нее жертву.

«Этот план проводился в течение нескольких лет твердо и последовательно. Заключение умирали один за другим словно по заранее составленному плану: один от туберкулеза, другие от цингитретьи от жандармских пуль, еще иные от самоубийства. В течение первых 20 месяцев из 37 человек, отправленных в Шлиссельбург до марта 1886 г., умерло 13. Эта краткая статистика является содержанием продолжительной и страшной трагедии, когда живых, полных сил людей насильственно вгоняли в могилу.

«Я не берусь описывать этой трагедии. Я хочу рассказать товарищам только о последних годах жизни Кобылянского и Варынского.

«Кобылянский и Варынский—два старейших представителя социалистического движения в Польше. Оба родом из Киевщины, где они были друг с другом знакомы. В 1876 г. оба очутились в Варшаве, где жили и работали вместе в качестве слесарей на фабрике Мильнона на Праге. В их квартире был произведен первый в Варшаве обыск по социалистическому делу. Об этом обыске Варынский рассказывал следующие подробности.

«В квартире Варынского и Кобылянского должно было состояться рабочее собрание. Узнав, что на это собрание приглашено лицо, к которому он относился недоверчиво, Варынский отменил это собрание и созвал его в другом месте, без этого лица. Опасения Варынского оправдались. Назначенную для собрания квартиру окружала полиция. Как на зло, в этот момент подехал к своей квартире на извозчике, возвращавшийся с фабрики Кобылянский. Заметив шпионов, он велел извозчику проехать дальше, но стоявший перед воротами шпион остановил извозчика, задержал Кобылянского и повел его через двор к жандармскому офицеру, руководившему облавой. Во дворе Кобылянский выхватил из кармана револьвер, отданный ему в починку, и на глазах испуганного шпиона вспрыгнул на забор. Услышав крик шпиика, из квартиры выбежали жандармы, и один из них в момент, когда Кобылянский собирался соскочить с забора на другую сторону, ранил его палкой. Рана, сказавшаяся несерьезной, не помешала Кобылянскому удалиться.

«С этого момента Кобылянский и Варынский уже не могли жить под своими фамилиями.

«На подмогу жандармам к обыску были привлечены и казаки, как это было в Польше во время восстания 1863 г., благодаря чему обыск получил широкую огласку.

«После этого Кобылянский и Варынский уже недолго оставались на работе в Варшаве, так как с конца 1877 г. начались аресты, принимавшие постепенно все более и более массовый характер. В 1878 г. пришлось скрыться и немногим уцелевшим от разгрома. Варынский уехал в Галицию, Кобылянский—в Россию. С тех пор им не пришлось больше встретиться, их объединила лишь общая могила в Шлиссельбурге.

«В России уже началась эпопея террора, и Кобылянский всей душой примкнул к террористической партии. Во время покушения на царя в 1879 г. Кобылянский предлагал свои услуги в качестве главного исполнителя, но это предложение было отклонено, так как тогда признавалось неудобным, чтобы покушение на царя совершил

поляк. Вскоре Кобылянский принимает участие в покушении на Крапоткина. Отчет о его процессе был напечатан в газетах, я поэтому на нем не останавливаюсь, и ограничиваюсь лишь указанием на его беззаветную и беспредельную преданность делу революции. Приговоренный к каторжным работам на всю жизнь, он сначала был сослан на Кару (Забайкальская область), а после «бунта» на Каре был перевезен в Петропавловскую крепость, откуда его перевели в Шлиссельбург, где он и умер в январе 1886 г., в камере № 36.

«Единственным проявлением жизни в первые годы существования Шлиссельбургской тюрьмы была борьба с Соколовым—помощником коменданта и заведующим тюрьмой. Физическая победа всегда оставалась на стороне Соколова, но сломить дух протеста ему не удалось.

«Кобылянский принадлежал к непримиримым. Когда Соколов, согласно инструкции, «тыкал» его, Кобылянский отвечал этим же. Шлиссельбуржцы шутили по этому поводу, спрашивая Кобылянского, выпил ли он на «брудершафт» с Соколовым.

«Варынского привезли в Шлиссельбург 1 марта 1886 г. уже после смерти Кобылянского. К этому времени издевательство жандармов уже несколько ослабело, заключенным весной 1886 г. отвели огородные грядки для обработки. Весьма трудно передать, какую это вызвало радость среди заключенных. Но это была еще только первая ласточка; до «весны» было еще очень далеко. Шлиссельбуржцы были лишены всего, что хоть сколько-нибудь могло скрасить жизнь. Никакие известия из внешнего мира, не только из области общественной жизни, но даже известия о семье, не проникали за тюремную решетку. Заключенные не могли сохранять в камере даже зубочистки. Жандармы ухитрялись все подметить и все конфисковать. Некоторое время спустя, когда жандармы уже не усматривали преступления в кормлении воробьев крошками хлеба, Варынский, находивший для себя в этом кормлении большое развлечение, бережно сохранял остатки несъеденного хлеба. Это не ускользнуло от внимания жандармов. Однажды двери камеры с шумом распахнулись, несколько жандармов набросились на хлеб и победоносно унесли из камеры захваченную добычу. Этот факт весьма характерен для системы, которая проводилась в Шлиссельбурге. Все было рассчитано на то, чтобы все время будоражить заключенных, держать их постоянно в возбужденном состоянии мелкими уколами и неприятностями. Соколов мастерски выполнял это задание. Никто из заключенных ни на один момент не мог иметь

уверенности в том, что в следующий момент его спокойствие не будет нарушено. Эта система была рассчитана на то, чтобы измучить заключенных и вынудить их морально капитулировать. Весьма характерно то, что считалось протестом, если кто-либо отказывался обращаться к Соколову с какой-бы то ни было просьбой.

«Пища была прескверная и, что важнее, в весьма недостаточном количестве. Соколов, правда, заявлял, что хлеба можно по-лучать вволю, но в действительности заключенным выдавали весьма мало хлеба, и вечером приходилось просить прибавки. Но и тогда, словно в насмешку, отпускали весьма крохотный ломтик.

«Варынский с момента появления его в Шлиссельбурге вел себя в высшей степени спокойно; он не вел войны с жандармами, но и не обращался к ним ни с какой просьбой. Этого было достаточно для того, чтобы его считали «протестантом». Благодаря его впечатлительности, на нем в высшей степени болезненно отражались все жандармские фокусы и лишали его спокойствия, столь необходимого для него, как для больного человека. Здоровье Варынского, еще до заточения его в Шлиссельбург, было сильно расшатано еще в Петербурге, когда он был слушателем Технологического института: Варынский, столоравшийся в дешевых кухмистерских, пажил катарр желудка. Впоследствии к этому присоединилась легочная болезнь; продолжительное сидение в Варшавской цитадели тоже не могло способствовать улучшению его здоровья. Нетрудно догадаться, как отразился Шлиссельбург на его здоровье. Когда по истечении девяти месяцев со дня его прибытия в Шлиссельбург ему разрешили 3 раза в неделю ходить на прогулку вместе с Яновичем, у него была уже цынга, опухли ноги, и он с трудом ходил. В течение зимы цынга усилилась, в марте уже жандармы должны были его выводить на прогулку, поддерживая его под руки. К этому присоединялся усилившийся катарр желудка и невыносимая зубная боль. Приходилось ему рвать зубы, но и это не помогло: начала портиться челюсть. Мигрень, невралгия глаз, астма, удушье и бессонница довершали картину. Варынский был доволен, если ему удавалось проспять 4—5 часов в сутки. Обыкновенно он спал не более 3-х часов, а весьма часто и эти 3 часа с перерывами. Особенно донимала его боль зубов. В этих случаях он не мог ни спать, ни есть. Это его еще более изнуряло. После этого у него являлся сильный аппетит, вызываемый еще и несварением желудка. А пищи было весьма мало, и Варынский голодал. Много времени прошло, прежде чем ему увеличили порцию каши. И вот

в таком состоянии у Варынского, больного, изнервничавшегося, кроме книг, не только печем было занять 20 часов времени в сутки, когда он не спал, но нельзя было даже прилечь, так как железная кровать опускалась только на ночь, в течение же дня была заперта на замок.

«Присесть отдохнуть можно было лишь на неподвижной железной скамейке. Если бы Варынский возбудил ходатайство, Соколов немедленно сделал бы распоряжение, чтобы кровать не заперли, отменил бы постную пищу по средам и субботам и улучшил бы ему пищу. Но Варынский оставался верен себе и ни с какой просьбой ни к кому не обращался. Впрочем, он с таким терпением переносил все невзгоды и был настолько нетребователен и невыскателен, что, когда впоследствии ему увеличили порцию каши, а затем, когда туберкулез стал уж очевидным для всех, и ему начали давать мясные котлеты, Варынский был весьма доволен доставляемой ему пищей. Достаточно было—и это для Варынского весьма характерно—того, чтобы перед самой его смертью жандармы проявляли к нему хоть кое-какое участие, и он забыл о всех их преследованиях и издевательствах. Чуткость Варынского была поразительна. Тюремный врач Нарышкин, вырывая ему зуб, сломал его, и оставшийся в десне корень вызывал гниение ее. Рассказывал об этом, Варынский просил держать это сообщение в тайне, так как зуб был сломан не по вине врача, а кто-нибудь из товарищей мог упрекнуть врача в этом. При этом надо добавить, что врач—скотина на редкость—отнюдь не заслуживал такого отношения.

«Эти страдания Варынский переносил в течение трех лет. Обыкновенно, летом он себя чувствовал лучше. Он становился живее и оживленнее, с увлечением занимался своей грядкой, разводил канусту, огурцы и т. п. В 1887 году заключенным были доставлены семена цветов. Он их очень любил, и это доставило ему огромное удовольствие. Цветы напоминали ему прошлое, отцовский дом, с любовью ухаживавшую за цветами.

«В тюрьме у него зрение до того ослабело, что он не мог читать: сидение без дела в камере становилось еще более томительным и невыносимым, он всеми силами добивался, чтобы ему дали хоть какую-нибудь работу. После удаления Соколова, когда обращение администрации с заключенными стало более приличным, Варынский при каждом посещении «начальства» настойчиво добивался этого. В конце концов ходатайство его было удовлетворено. 15 ноября 1888 г. Варынского провели с прогулки в здание старой

тюрьмы, где в одной из камер был сооружен детский столярный станок. Ему было предоставлено несколько дощечек из поломанного ящика и инструменты. Хотя ему было разрешено заниматься этой работой раз в неделю и то только несколько часов, но он был очень доволен, так как эта работа не только развлекала его, но и благотворно действовала на его нервы. Он чувствовал себя лучше.

К несчастью, ему немного пришлось этим наслаждаться. В январе 1889 г. он перестал выходить на прогулку. Туберкулез принял скоротечную форму. Канель, повышенная температура, удущье сказывались на нем мучительно. Силы истощались. В конце января он уже все время проводил в кровати.

«Начиная с ноября 1886 до конца 1888 г. Варынский ходил на прогулку с еще одним товарищем: сначала три раза в неделю, а впоследствии ежедневно. Все это время товарищем Варынского на прогулке был Янович, за исключением нескольких недель, когда он гулял с Мартыновым, а затем с Палкратовым. Когда Варынский уже не мог выходить из камеры, Янович обратился с просьбой к коменданту крепости, разрешить ему посещать Варынского в камере, но в этом ему было отказано. Единственное, чего он добился, это то, что его перевели в соседнюю с Варыньским камеру № 13. Это дало им возможность перестукиваться. С точки зрения администрации это был верх либерализма. По этому поводу врач заявил Яновичу: «Вам оказали такую милость!»

«В конце января дни Варынского были уже сочтены. Канель и удущье усилились, он уже не мог встать с кровати, не мог даже повернуться с боку на бок... А при нем не было ни души. Двери заперты на замок... Тишина... Слышны только шаги жандармов, подкрадывающихся к «глазку» в дверях... Когда Варыньскому становилось невозможно от удущья или от боли, он стучал Яновичу: последний подходил к двери и звал жандарма. Жандарм медленно, размеренным шагом подходит к окошку в дверях Варыньского, смотрит, а затем, не торопясь, вызывает дежурного. После этого продолжается некоторое время наблюдение за тем, что происходит с больным, и затем уже открываются двери и больному оказывается помощь.

«Врач посещал Варыньского ежедневно.

«За неделю до смерти Варыньского посетил комендант и спросил, не желает-ли он получить улучшенную пищу. Результатом этого было то, что ему несколько раз дали компот, конечно, весьма невкусный. Несмотря на крайнее истощение, Варыньский перестуки-

вался с Яновичем все время... 11 февраля он поздравил еще Буцинского с днем рождения, на следующий день передал Яновичу свою последнюю волю, при чем просил его передать привет товарищам. Перестукивание доводило его до крайнего утомления. Утром между 9 и 10 час. следующего дня, когда все товарищи находились на прогулке, Варынский скончался.

«Так умер один из самых выдающихся представителей социалистического движения в Польше!

«Я никогда не забуду того впечатления, какое он произвел на меня при первой моей встрече с ним. В июне 1883 г. на скамейке в Лазенковском парке (в Варшаве) Варынский в беседе со мной начал развивать свою программу борьбы. Ни до, ни после этого я не встречал человека, который сразу внушал бы такую веру в себя. Я был совершенно очарован. Чувствовалось, что этот человек знает, к чему стремится и обладает волей для проведения того, к чему стремится.

«Перед приездом Варынского в Варшаву в Польше боролись друг с другом два течения: социалистическое международное и социалистическое национальное. Интернационалисты ставили себе целью организовать польских рабочих для борьбы с капитализмом на экономической почве, для чего они стремились к созданию единой социалистической партии в пределах этнографической Польши с общей программой борьбы для всех трех частей Польши. Государственным границам они не придавали никакого значения, так как весьма мало значения придавалось ими политическим условиям. Пропаганда социализма, организовывание рабочих и забастовки составляли сущность их программы. Национал-социалисты были идейными наследниками Демократического Общества 1848 г. Социалистическая окраска была с их стороны лишь данью времени. Поэтому-то они гораздо более внимания уделяли привилегированным классам, чем рабочим.

«Варынский подвергал резкой критике оба направления. «В процессе борьбы за освобождение рабочего класса нам приходится иметь гораздо больше дела с правительством, чем с буржуазией. В действительности, на практике, политическая борьба всегда будет составлять главную часть программы»,—говорил Варынский. Да и политические условия имеют первостепенное значение для тактики. По этим соображениям социалистическая организация в Царстве Польском должна быть обособлена от социалистических организаций в других частях Польши. А так как, с другой стороны, у нас об-

пций с русскими революционерами враг в лице царя, то мы должны объединить свои силы с силами русских революционеров. Центр тяжести борьбы находится в Петербурге. Там «Народная Воля» напрягает все силы в борьбе. Наша обязанность—помогать ей всеми средствами». Впоследствии, в Шлиссельбурге, Варынский сознался, что он уже подготовился было к отъезду в Россию для того, чтобы организовать покушение на царя, и только неожиданный арест разрушил этот план. С другой стороны, Варынский враждебно относился к забастовкам. «Даже в Западной Европе,—говорил он,—где рабочие пользуются всеми гражданскими правами, где у них широкие организации, забастовки весьма редко приводят к победе рабочих, и поэтому последние весьма неохотно прибегают к ним. В России забастовка считается бунтом. Рассчитывать на успех забастовки в России весьма трудно как из-за вмешательства полиции, так из-за наличности в рядах рабочих большого количества сельского пролетариата. На каждое освободившееся место на фабрике фабрикант может найти десять кандидатов. В виду этого шансы борьбы не равны. Весьма трудно также вести в широких размерах социалистическую пропаганду, так как для того, чтобы подготовить солидное число сознательных социалистов, необходимо дать рабочим хотя бы элементарное образование в области политической экономии, новейшей истории и т. п. Поэтому то приходится ограничиться подготовкой отдельных, более способных и развитых рабочих. По мнению Варынского, при существовавших тогда условиях главным средством борьбы должна была быть агитация. Необходимо было овладеть массами, популяризируя среди них знамя «Пролетариата» и его лозунги. Надо было дать понять польским рабочим, что существует партия, которая ведет борьбу за их экономическое и политическое освобождение и зовет на борьбу всех трудящихся, и что этой партией является «Пролетариат». Для того, чтобы отметить свою классовую позицию и отгородить себя от всевозможных патриотических течений, были выдвинуты такие лозунги, как: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Свободы, фабрик и земли!». Эти лозунги фигурировали на всех изданиях «Пролетариата» с целью придать им самое широкое распространение. «Пролетариат» должен был проявить активность во всех случаях, когда рабочие являлись жертвою эксплуатации или гнета со стороны фабриканта или правительства. Варынский подходил к массам не с экономической теорией, а с поддержкой словом и делом. Прекрасный пример применения

этой тактики представляет отношение «Пролетариата» к распоряжению обер-полицеймейстера о медицинском санитарном освидетельствовании фабричных работниц в Варшаве. На это распоряжение, приравнивавшее работницу к проститутке, «Пролетариат» ответил воззванием, призывавшим рабочих к сопротивлению хотя бы ценой кровавых жертв. Была проведена агитация, поднимавшая на ноги всю Варшаву. Весь город был засыпан воззваниями. Прокламации разбрасывались на улицах совершенно открыто. Никто тогда не думал о грозившем аресте. Нужно было выиграть битву. И она была выиграна! Полиция не посмела выполнить распоряжения обер-полицеймейстера, оно было отменено, при чем обер-полицеймейстер получил выговор и был переведен из Варшавы. Шум по этому делу не ограничился одной Варшавой. Аксаков перепечатал в газете «Русь» воззвание «Пролетариата» с комментариями, весьма не лестными для варшавской полиции. Излишне добавлять, что душой этой агитации был Варынский.

• «Несколько лет спустя, когда он был уже заключен в варшавской крепости, жандармы часто возвращались к этому делу, говоря, что все можно было-бы ему простить, только не эту агитацию. Агитация словом и делом, популяризация лозунгов и знамени «Пролетариата» должны были объединить всю рабочую массу в одной организации, а рабочие комитеты, в момент, когда созреет в России революция, должны были призвать эти массы к оружию.

«Я слышал на своем веку много как умных, так и фантастических программ, но все они оставались на бумаге... На этот раз я слышал человека, каждое слово которого было чревато делом. В нем чувствовался человек дела, и этим объясняется то производимое им сильное впечатление, о котором я говорил. Я с первого-же момента готов был отдать всего себя в его распоряжение. Впоследствии, уже в Штиссельбурге, говоря о деятелях великой французской революции, Варынский, большой поклонник Дантона, заявил: «Если бы у нас в момент переворота нашелся такой человек, как Дантон, который сумел-бы ориентироваться среди бури, разжигать массы и объединять их для общей борьбы!» Этот взгляд смахивает на якобинизм. И все-же я думаю, что в Варынском мы могли иметь именно второго Дантона».

II. Станислав Куницкий.

Признавший вождь партии «Пролетариат», Людвик Варынский, настолько выделяется из общей среды, что не только исследователи, как покойная Роза Люксембург, теперь отводят ему совершенно особое место в польском революционном движении, но и сорок лет тому назад товарищи по делу отводили ему такое же особое место. Это был тогдашний польский Ленин. Об этом необходимо упомянуть, так как при сопоставлении с Варыньским как-бы ступеньками и блекли такие весьма видные, талантливые и самоотверженные деятели, как Куницкий, Янович, Рехневский, Маньковский.

По сравнению с Варыньским это были лишь *dii minorum gentium*—вожди нижней категории.

Несомненно, первое место среди этих вождей второй степени занимал Станислав Куницкий.

Поскольку Людвик Варыньский, в течение всей своей деятельности, хотя с колебаниями и уклонами, но неукоснительно приближался к революционному марксизму, постольку в Станиславе Куницком превашировало романтическое, заговорническое, народо-вольческое течение. По отцу поляк (сын военного врача), по матери грузин. Куницкий, до поступления в Институт путей сообщения в Петербурге жил на Кавказе. Впечатлительный, импульсивный, он вскоре после приезда в Петербург в 1881 году примыкает к народо-вольческому движению, на первых порах увлекаясь гораздо более формой, чем сутью, внешней стороной, чем внутренней: таинственностью, конспиративностью, всеми аксессуарами заговорничества. Только в процессе партийной работы Куницкий усваивает под руководством погибшего впоследствии в Шлиссельбурге Грачевского основы тогдашнего революционного движения.

В Петербурге же Куницкий примкнул к польскому революционному движению, вступив в так наз. «Польско-Литовскую социал-революционную партию», образованную в конце 1881 года польской революционной молодежью в Петербурге.

Термин: «партия» весьма мало подходил к этой организации. Эта своеобразная «партия» не имела собственной программы, была фактически лишь одной из народовольческих организаций, по отношению же к Польше составляла запасный резерв. В случае провала в Польше, члены этой организации приезжали в Польшу на смену арестованных.

В главе этой организации стоял «Тайный Совет» («Rada Sekretna»), в состав которого входили Александр Дембский, Эдмунд Плосский, Тадеуш Рехневский, Станислав Михалевич (в 1905—6 г. один из видных «социалистов-революционеров») и Станислав Куницкий. Последний был связующим звеном между этой группой и партией «Народной Воли», но с польским движением почти не имел ничего общего и с характером его ознакомился значительно позже, познакомившись с Варыньским и подчинившись его обаятельному влиянию. В правительственном издании: «Материалы для истории революционного движения в Царстве Польском с 1877 по 1885 г.» сообщается, что «Варыньский сразу приковал к себе Куницкого; первый объяснил ему программу так, что он сразу с нею согласился и только не разделял его взгляда о близости революции, но когда Варыньский повел его на сходки (рабочих), он пришел в такой восторг, что чуть ли не сейчас готов был лезть на баррикады». Но это было значительно позже, уже в 1883 году, во время Виленского съезда, о котором, кстати сказать, до сих пор весьма мало известно, как в России, так и в Польше, и о котором составителям обвинительного акта по делу «Пролетариата» пришлось сказать, что «место и участники съезда не обнаружены». Этот съезд был созван по инициативе «Тайного Совета», при чем основными вопросами съезда были: «объединение всех польских соц.-революционных сил, определение взаимоотношений между польскими социалистами и партиями трех государств, в состав которых вошли отдельные части Польши (России, Германии, Австрии), и, наконец, определение взаимоотношений между «Центральным комитетом» партии «Пролетариат» и «Исполнительным комитетом «Народной Воли»».

Делегатом «Тайного Совета» на этом съезде был Куницкий. Съезд не оправдал возлагавшихся на него надежд. Русские группы польской революционной молодежи (в Петербурге, Москве, Киеве) объединились с «Пролетариатом» и признали его программу, но значительное ядро варшавской университетской молодежи, возглавляемое выдающимся социологом Станиславом Крушинским, «польским Михайловским», отстаивало на съезде необходимость исключительно

пропагандистско-культурной работы и противопоставляло себя выставленной «Пролетариатом» необходимости организовать рабочий класс и крестьянство на почве повседневной борьбы с эксплуататорами и правительством, необходимости руководить этой борьбой и этим завоевать себе право представителя интересов этих масс. С группой Крусинского, вскоре переставшей играть какую-бы то ни было роль в движении, соглашение не было достигнуто.

По второму вопросу тоже окончательного решения не было принято. Сторонники образования в каждой из частей Польши польского отделения единой общегосударственной партии обосновывали свой взгляд тем, что политические условия в каждой из этих частей тождественны с политическими условиями во всем государстве-работителе, в то время как эти условия в русской, прусской и австрийской Польше различны, и поэтому в интересах борьбы необходимо польским социалистам войти в состав общегосударственных социалистических партий этих стран.

Этот взгляд отстаивал Куницкий.

Противники этого взгляда ссылались главным образом на то, что при тех скудных технических ресурсах, какими располагает социалистическая партия, пропаганда путем печати в каждой из этих частей Польши должна будет вестись самостоятельно, что может весьма сильно осложнить работу.

В итоге не эти аргументы, а незрелые в то время еще условия повлияли на то, что в общем вопрос был оставлен открытым, и только по вопросу об отношениях к «Народной Воле» было решено установить самый тесный контакт между руководящими центрами обеих партий.

Для Куницкого, отстаивавшего слияние, в высшей степени характерно, что, когда он втянулся в польскую работу, он не придерживался проводившегося им на Виленском съезде взгляда и активно гмешивался в социалистическое движение в Галиции, применяя и там систему террора. Бомба, брошенная в здание полиции в Кракове в 1884 году, была делом рук «пролетариатца» Малангелевича.

Эта черта в высшей степени характерна для Куницкого.

У Варынского отдельные эпизоды его деятельности были звеньями в общей цепи, частное было подчинено общему... Куницкого захватывал текущий момент, на который он реагировал немедленно, весьма часто из-за частичной цели, теряя из виду общую. Варынский весьма часто, наметив что либо, сознательно мешкал с

исполнением, выжидая момента, когда условия созреют для реализации намеченного; Куницкий от слов немедленно переходил к делу.

Варынский был арестован 29 сентября 1883 г., Куницкий 11 июля 1884 г. Он немедленно же после ареста Варынского очутился в Варшаве. За время своего руководства партией он ездил на довольно продолжительное время и в Россию, и за границу, но, несмотря на это, он ухитрился издать, кроме нескольких воззваний, три номера «Пролетариата» (от 3-го до 5-го), организовать покушения на провокаторов Сиремского (два раза), Франца Гельшера, Скрежиничского, на тов. прокурора Янкулю и жандармского подполковника Секеринского и готовить взрыв камеры прокурора. Одновременно с этим он приводит в исполнение решение Виленского съезда и заключает от имени Ц. К. «Пролетариата» знаменитый договор с «Народной Волей».

В течение этих девяти с половиной месяцев Куницкий работает до изнеможения... Но если проследить эту лихорадочную деятельность детально, то приходится отметить, что она носит по преимуществу исполнительный характер и что великая идея, все время отстаиваемая Варынским—воздействие на массы и вовлечение их в движение,—Куницким не проводилась. Внешний эффект его больше увлекал, чем основательная, не рассчитанная на немедленные результаты внутренняя работа. Ради этого внешнего эффекта Куницкий готов был пожертвовать многим.

Это увлечение внешним эффектом доходило у Куницкого иногда до крайних пределов. Я уже упоминал, с каким презрением он относился к Дегаеву, но, несмотря на это, однажды, когда я уже сидел с ним в одной камере в X навильоне Варшавской цитадели, он в разговоре с увлечением заявил:

«Если бы Дегаев выдавал ради того, чтобы создать условия для убийства Судейкина, ему можно было бы все простить».

На мои горячие возражения он с увлечением сослался на Мицкевичского Валленрода. И эта ссылка на Валленрода не была случайной. Он действительно увлекался валленродизмом. Самым крупным русским революционером, чуть ли не идеалом, он считал Клеточникова. Впрочем, это увлечение могло объясняться и тем, что для выполнения той функции, которую взял на себя Клеточников, нужна была необыкновенная выдержка, умение подавлять свои чувства, хладнокровие, осторожность, т. е. именно те черты, отсут-

стве которых в Куницком бросалось в глаза, в чем он отдавал себе отчет и всегда завидовал тем, которые обладали этими чертами.

Горячий, вспыльчивый, весьма быстро выходящий из себя, он на суде стал для прокуроров мишенью нападок, рассчитанных на то, что, задетый, он выскочит из оглобеля и выналит такой ответ, который уже неминуемо повседет его на виселицу. Но эти расчеты не оправдались. На суде Куницкий был все время в обществе друзей и товарищей, встречавших всякую вылазку против него проиническими улыбками. Это влияло на него, он сдерживался и только в последнем слове дал прокурорам горячую отповедь.

«Позвольте мне, г.г. судьи, в последнем слове очиститься от той грязи, которой забросали меня прокуроры, а отчасти и некоторые из защитников. Я представлен ими на суде, как человек, алчущий человеческой крови. По высказанному моими обвинителями мнению, всюду, где я ни появлялся, проливалась или должна была пролиться человеческая кровь. Мои убеждения признаны вредными для общества, мои поступки признаны преступлениями. Для того, чтобы еще более повлиять на вас, г.г. судьи, прокурор подчеркивал, что я во всем солидарен с «Народной Волей», совершившей акт 1 марта. Да! Я солидарен с «Народной Волей», я был членом этой партии, я подписываюсь под всем, совершенным ею. Это—не преступление, а исполнение священной обязанности. Вся моя вина—это моя любовь к народу, за освобождение которого я готов отдать свою кровь до последней капли. На путь террора нас заставила вступить необходимость. Уберите от нас таких людей, как Янкулю и Белановский, людей, которые торгуют человеческой жизнью, прекратите бесчеловечные преследования, и тогда борьба примет менее острый характер. (В этих словах Куницкий повторяет лишь сказанное в письме «Исполнительного Комитета Народной Воли» Александру III).

Вы слышите плач и рыдание присутствующей на суде публики? Это наши родственники: отцы, матери и жены. Их спросите: преступники ли мы. Они нас знают. А вы—можете нас судить, можете и осудить. Мы умрем, сознавая, что исполнили свой долг».

Куницкий, в числе шести, был приговорен к смертной казни, а в числе четырех казнен 28 января 1886 года.

Приговор не был для него неожиданностью.

Перед смертью 23 декабря 1885 г. он отправил прощальное письмо к рабочим:

«Братья рабочие! Пользуюсь подвернувшимся случаем, чтобы перед смертью написать к вам несколько слов.

Вскоре меч палача обрушится на наши головы, но чувство страха нам чуждо. Мы знаем, ради чего мы гибнем и за что мы отдали жизнь свою.

Теперь от вас, братья, зависит, чтобы наша жертва не была бесцельна.

Мужество и выдержка. Не забывайте, что мы только собственными усилиями сможем завоевать права, которых нас лишали в течение стольких веков, что только в себе самих мы должны искать силу и бодрость в борьбе, которую мы ведем.

Пусть не пугают вас те жестокие приговоры, которые обрушились на нас.

Если бы не предательство, не было бы стольких жертв. В этом отношении, следовательно, зависит от нас, чтобы жертв было как можно менее. Будьте осторожны в своей деятельности. Не доверяйте первому встречному. Но не ослабляйте при этом своей энергии, не отступайте от нашего знамени, держите его высоко, и победа будет за вами.

Это, братья, мои последние слова, мое завещание, которое пересылало вам.

А теперь, мои более близкие друзья, если кто из вас сохранит хоть частичку той привязанности, которою вы меня удостаивали, тот поймет, что этими немногими словами я желал бы влить в вас всю мою любовь к делу, за которую я гибну, и выразить вам, людям, с которыми я вместе работал, те чувства дружбы, какие я к вам питаю.

Посылаю привет и сердечные рукопожатия вам, знающим и помнящим меня, братское рукопожатие товарищам по оружию.

Сердечно обнимаю вас всех в последний раз. Будьте счастливы и не забывайте «рыжего Григория».

Станислав Куницкий.

Тридцать шесть дней спустя с возгласом на устах: «Да здравствует пролетариат!» Куницкий погиб на виселице.

III. Людовик Янович.

Людовик Янович—«Конрад», как мы его называли,—представлял весьма оригинальный тип в нашей среде. Крайне молчаливый, застенчивый, производивший внешне впечатление робкого, он изменялся до неузнаваемости, когда какой-нибудь вопрос задевал его за живое. Он был занкал. Но в такие моменты он говорил плавно, горячо, с увлечением. Представляя собою тип—уже в то время редкий—революционера-моралиста, подходящего ко всем вопросам с точки зрения морали, он проявлял особенную пастойчивость именно в этой категории вопросов. Мне пришлось быть свидетелем следующего случая. Происходило заседание Центрального Комитета, на котором несколько товарищей, не входивших в состав Ц.К., давали отчет о сделанном и, получив необходимые указания, удалялись. В числе товарищей, представлявших отчет о своей деятельности, был и хозяин квартиры, который, не сообразив, что ему следует поклонить собрание, остался. Куницкий просто, не делая из этого никакого вопроса, попросил его удалиться. При этом Янович больше сконфузился, чем удаленный товарищ, а когда двери за ним закрылись, Янович напустился на Куницкого: как можно так бесцеремонно, не считаясь с человеческим достоинством, обращаться с людьми. Куницкий отшучивался, но это не помогало. Янович долго еще не мог успокоиться и продолжал распекаль Куницкого, требуя, чтобы он извинился перед обиженным. Этой мелочи сказался весь Янович. По убеждению он был типичнейший пародоволец-террорист, но когда он формулировал свои террористические взгляды,—трудно было удержаться от улыбки: до того это не вязалось с представлением о нем. Но и в вопрос о терроре он вносил свое отношение. Человек, предлагающий партии совершить террористический акт, сам должен его выполнить. Нельзя посылать другого на убийство. Только тот, кто сознает необходимость данного террористического акта, может взять на свою ответственность жизнь человека, приговариваемого партией к смерти. Когда он отстаивал эту идею, ни для кого не подлежало ни малейшему сомнению, что этим он не склоняет террор и что, если он будет убежден в необходимости убить какого-нибудь шпиона или провокатора, то ни минуты не колеблясь, сам выполнит террористический акт. Когда в момент ареста, Янович оказал вооруженное сопротивление и ранил прово-

катора Гузарского и когда известие об этом проникло к нам в X павильон Варшавской цитадели, многие, не знавшие его хорошо, отнесли весьма скептически к этому, между тем как мы все приняли это известие как нечто вполне естественное. Иначе и быть не могло.

Это последовательное проведение в жизнь проповедуемых идей, полная согласованность слова с делом, при беззаветной преданности делу, огромная требовательность к себе и снисходительность к другим, кристаллически-чистое и душевное отношение и к делу, и к товарищам по работе.—все эти черты выделяли Яновича из общей среды. Варыньскому подчинялись. Куницкий увлекал своим энтузиазмом, Янович был живой совестью партии, во всех спорных и мало-мальски щекотливых вопросах его мнение было решающим. Идею вклад в партию Янович не внес, но благодаря своей душевной чистоте и обаянию, благодаря вдумчивому отношению к каждому явлению, он в партии был одним из полезнейших руководителей. Эта вдумчивость, это стремление проанализировать во всех деталях явление было у него толчком для изучения статистики. Он ею занимался и на воле, и после ареста, в X павильоне. Но и к статистике он подходил по своему. Он искал в ней подтверждения того, что им а priori признавалось правильным и неоспоримым. В этом отношении в высшей степени характерна его работа по статистике, составленная им в Якутской области уже после отбытия срока каторги в Шлиссельбурге. Подходя к национальному вопросу с этической точки зрения и считая неизбежным право каждой нации на самостоятельное существование, Янович не мог примириться с выводами Розы Люксембург в ее статье об экономическом положении Царства Польского. Он заранее решил вопрос, а подобранные им субъективно в высшей степени добросовестно цифры только должны были доказать то, что для него и без цифр было несомненно.

Если бы судьба его столкнула с Розой Люксембург и вообще с марксистами, если бы он, после выхода из Шлиссельбурга, получил возможность ближе изучить совершенно незнакомую ему марксистскую теорию, если бы он приучился рассматривать вопросы с точки зрения не желательности, а необходимости, результаты его труда были бы другие. Но он вышел из Шлиссельбурга с тем багажом, с каким он был арестован, — и совершенно невольно сыграл на руку пепезовцам, ведшим в то время отчаянную борьбу с социал-демократами и не преминувшими использовать имя Шлиссель-

Суряца для борьбы с своими политическими противниками, хотя они знали, что живя в далеком Кольмске, не располагая всем доступным в культурных странах материалом, Янович, если бы даже усвоил марксистский метод, не мог бы справиться с столь трудной и ответственной, как вопрос о будущих судьбах Польши, задачей.

Я уже упоминал о том, что Янович в X павильоне занимался статистикой. Это было уже в тот период, когда следствие близилось к концу и мы уже сидели в камерах не в одиночку, а по двое. До этого времени, Янович, при его нервности, абсолютно не был в состоянии чем-либо серьезно заниматься. Все его мысли сосредоточены были на одном: как бы каким-нибудь невольным движением или жестом, неосторожным словом или даже выражением своего лица при допросе не повредить делу и товарищам. Это сделалось его манерой. Он только об этом и думал. Под влиянием этого, ему начало мерещиться, что жандармы по биению пульса на шее могут, по методу перестукивания, прочесть его мысли и что благодаря этому он может невольно сделаться предателем. Это его буквально терзало. Товарищи употребляли все усилия, чтобы его успокоить, но это не помогало... Он, как сумасшедший, бегал по камере, держа одной рукой за шею, другой закрывая висок, чтобы жандармы не могли прочесть его мысли. Но другой висок оставался открытым, а жандармы подсматривали в «глазок»... Этого он не мог вынести и решил покончить с собою... Разбив бутылку, он осколком стекла начал резать себе шею. К счастью, наблюдавшие за ним жандармы заметили это и отобрали у него осколки стекла. На следующий день, по настоянию товарищей, ему разрешили сидеть в камере с другим товарищем, но выбор этого товарища жандармами оказался очень неудачным. Его посадили вместе со Шмаусом, которого он лично не знал и который тоже страдал психоманией. В результате они друг друга заподозрили в шпионстве, разругались и потребовали от жандармов, чтобы их опять рассадили по разным камерам. Только после того, как его посадили вместе с Кунциком, Янович пришел в себя.

Если сопоставить этот факт с тем, что этот же Янович провел впоследствии десять слишком лет в Шлиссельбурге и, один из немногих, вышел из этой тюрьмы, откуда, по выражению шефа жандармов Оржевского, «не выходили», а откуда «выносили», то опять не может не броситься в глаза одна из характерных черт Яновича. Когда дело касалось других, когда он мучился мыслью, что может невольно повредить другим, нервы его не вынесли, когда-же всевоз-

возможные репрессии и преследования обрушивались на него лично, это на него мало действовало. В печати появились его воспоминания о пребывании в Шлиссельбурге. Он спокойно, объективно описывает все пережитое и возмущается и негодует лишь при упоминании об издевательствах над другими. Выступал он с протестом тоже только тогда, когда дело касалось других.

Эту же черту его характера можно проследить за весь период его пребывания в Колымске, куда его сослали по выходе его из Шлиссельбурга. И к этому зверскому решению жандармов сослать его после Шлиссельбурга на крайний северо-восток Сибири он отнесся спокойно. В присланном мне уже из Колымска письме он сообщал, что остался верен прежним своим идеалам, прежним привязанностям и прежним любимым занятиям. Но спокойная жизнь в Колымске была жестоко нарушена местными самодурами: местный заседатель Ивалов оскорбил и избил ссыльного Калашникова. Тот застрелился. Другой ссыльный Ергин при встрече застрелил Ивалова. Эти события до того подействовали на Яновича, что он, по прибытии в Якутск, куда был вызван в качестве свидетеля по делу Ергина, решил покончить с собой.

В оставленном им письме к товарищам-ссыльным, он пишет: с 18 лет тюрьмы и ссылки в конце издергали мои нервы. Я утомлен и чувствую крайнюю необходимость в отдыхе, но единственный для меня способ отдохнуть—это умереть. У вас может возникнуть вопрос, почему я решил именно теперь покончить с жизнью. Мне не легко дать ясный ответ на этот вопрос. В душе моей борются сильные и определенные, но вместе с тем противоположные друг другу чувства. Мои душевные силы до того ослабели, что необходимость накричать волю для того, чтобы решить томящие меня вопросы,—была последней каплей, ускорившей развязку.

Перед смертью я думал о том, чтобы отправить к Сипягину (на тот свет) одного из самых преданных его слуг, но решил не делать этого. Вице-губернатор (Якутский) Миллер—мерзавец. Это верно. Но таких мерзавцев—несметное количество. А террористические акты должны иметь определенный смысл, должны быть ответом на возмутительные насилия со стороны администрации и ни в каком случае не должны исполняться только потому, что представился случай убрать мерзавца. Лично же я к нему не питаю дурных чувств.

Прощайте, товарищи. От всей души желаю вам увидеть красное знамя на Зимнем дворце».

IV. Фаддей Рехневский.

О Фаддее Рехневском мне уже приходилось говорить в первых главах этой книги. Он резко отличался от всех других товарищей. Крайне сдержанный, в самые критические моменты жизни сохраняющий хладнокровие, систематический в работе, конспиративный.—он производил впечатление «немца». Рабочие часто в шутку называли его «швабом» (презрительное название немца). Он был, как мы это определяли в своей среде, «революционной машиной». Что бы ни случилось, как бы ни изменились обстоятельства, Рехневский.—в этом все были уверены,—выполнит возложенное на него поручение, останется на посту, пока его не снимут с него. По своему мировоззрению, Рехневский ближе всего подходил к Варыньскому. Когда я с ним познакомился, в конце 1883 года, он уже склонился к марксизму и был большим поклонником немецкой социал-демократии. Лодзинские рабочие-немцы, с которыми он на собраниях беседовал о рабочем движении в Германии,—а кстати сказать, как воспитанник Либавской гимназии, он прекрасно владел немецким языком.—были глубоко убеждены, что он делегат немецкой социал-демократической партии, присланный партией к нам для установления сношений, хотя он, конечно, отнюдь не выдавал себя за такового. Я упоминаю об этом для того, чтобы исправить некоторую неточность в воспоминаниях Л. Дейча, который себе приписывает заслугу обращения Рехневского в марксисты. Это совершенно неверно. Я не хочу сопоставлять Дейча с Рехневским и решать довольно щекотливый для Дейча вопрос, кто на кого мог влиять, и отмечаю лишь, что со стороны Дейча—это самообольщение. Уже по дороге на Капу, когда мы на барже плыли по Волге и Каме, читались вслух первые издания «Освобождения Труда», и на долю Рехневского выпала защита проводимых «Освобождением Труда» взглядов от нападений со стороны народников (в лице Магаренко и Днаталович), «милитаристов» (супруги Аргуновы и Осташкина), народолюбцев (Баранов и др.), «молодых народолюбцев» (Флеров, Олесинов) и даже пролетариатцев (Трушковский).

На Кару Рехневский приехал уже, как убежденный марксист. Он не делал в тюрьме из этого определенных практических выводов. Я бы выразился, не был боевым марксистом, проводил целые дни за книгами, только изучая судьбы капитализма в России, но уже и тогда на нас, более молодых (Маньковского и меня), воздействовал совершенно определенно и весьма часто помогал нам разбираться в «Капитале», который мы тогда штудировали.

Я уехал из Кары в декабре 1890 г., Рехневский оставался еще там, «в вольных командах». Встретились мы снова только в 1903 г. на частном съезде ссыльных-поляков в квартире Рехневского в Иркутске. И он и его жена Витольда Викентьевна, урожденная Карпович, уже были социал-демократами. Рехневский, в отличие от многих ссыльных, зорко следил за движением как в России, так и в Польше и уже тогда, сопоставляя заграничные издания П. П. С. издававшимися в Польше, указывал на существование двух взаимно исключających друг друга течений в этой партии и предсказывал необходимость раскола. Сам он склонялся к лево-социалистическому течению. В 1905 году он принял активное участие в революционном движении в Иркутске, был арестован и предан суду. По освобождении на поруки, он переехал в Польшу, примкнул к «левнице» П. П. С. и все время при самых трудных и тяжелых обстоятельствах редактировал легальный популярный марксистский журнал: «Wiedza» («Знание»), продолжая издавать его и во время германской оккупации и отставая в нем интернационалистическую позицию. К несчастью, дни его уже были сочтены. У него был катарр или язва желудка (точно не знаю), ему сделана была операция, после которой он заболел воспалением легких и в несколько дней скончался.

У. Мечислав Маньковский.

«Пролетариат», как я уже упоминал, и по социальному составу своих членов резко отличался от «Народной Воли».

В организации «Пролетариата» преобладали рабочие, среди которых было много таких выдающихся, как Генрих Дулемба, мыловар, прекрасный организатор и замечательный конспиратор, ухитрившийся в самые трудные моменты проникнуть на фабрику и вести агитацию среди рабочих. Убежденный, стойкий, он с 1878 г., в течение пяти лет, то сидел в тюрьме, то снова брался за работу. Варыньскому, как идейному вождю, он был предан до самоотвержения и был его правой рукой. Через Дулембу Варыньский проникал к рабочим. Но на каторге Дулемба отстал от века. В 1905 г. он принял участие в движении, был арестован Ренненкамфом в Чите, каким то чудом спасся и приехал в Польщу. Мы тогда ежедневно издавали нелегально «Работника».

Движение приняло массовый характер. Привыкший только к кружковой работе, Дулемба был ошеломлен, огорашен. Попытаться было втянуться в работу, но не мог. После 22 лет уже иные песни и иные речи раздавались в рабочей массе... Он не мог понять движения, а рабочие не могли понять его. И он отстранился от работы, уехал обратно в Читу, а оттуда несколько месяцев спустя в Люблинскую губернию, где вскоре после этого, уже в пожилом возрасте, умер.

Совершенно другой тип представлял рабочий-столяр, галичанин, Мечислав Маньковский. Ему было всего 16 лет, когда он был в первый раз арестован в Галиции в 1878 году по делу Варыньского. Живой, увлекающийся, романтик, он во многом напоминал Куницкого. Движение в Галиции, мирное, пропагандистское, вписанное в определенные рамки законности, ему было не по душе. Он переехал в Царство Польское и здесь увлекся террором, весьма скоро попав в сети провокатора. Словхватившись, он решил покон-

чить с провокатором, но и тот понял, что он обнаружен и вовлек Маньковского в засаду. Он был окружен полицией и шпиками, защищался при аресте отравленным стеклянным книжкалом, но отбиться от шишолов не мог и был арестован.

Что представлял из себя Маньковский, можно заключить из двух документов: из его речи на суде и из его письма к рабочим уже после осуждения.

«Г.г. судьи. Мне был поставлен вопрос, признаю ли я себя виновным, и я ответил: нет. Теперь я хочу обосновать этот ответ. Причиной нашей деятельности были нищета и страдания рабочих. Я не буду здесь говорить об этой нищете: это знакомая картина, но я должен пояснить, что я понимаю под словом «нищета». Если не обеспечен рабочий и его семья, то я считаю его нищим. Не думайте, судьи, что мы предъявляем при этом чрезмерные требования. Одежда, пища, квартира, воспитание детей и свет науки для всех людей.— вот наши требования, вот требования миллионов рабочих. Неудовлетворение этих потребностей уподобляет человеческую жизнь жизни животных. Под влиянием этого неудовлетворения в людях просыпаются дурные инстинкты и страсти, как зависть и другие, деморализующие как эксплуатируемых, так и эксплуататоров. Только социалистический строй может спасти человечество и вывести его из того болота, в которое его столкнула господствующая ныне социальная система. У угнетенных открываются глаза, они ищут причины своего несчастья. Они уже видят то, к чему шпыми путями доходят люди науки, проводящие целые годы над статистическими исследованиями. Мы, рабочие, ясно сознаем, недостатки нынешнего строя и смотрим на устранение отживших форм, как на вопрос жизни для всего общества. Все правительства отдают себе отчет в важности этого вопроса, а между тем портфели министров заполнены только проектами того, как выжать из народа последнюю копейку. Произносятся много пустых, испещренных звучными фразами речей, но никто не думает о серьезных средствах борьбы с этим злом. Г. прокурор признает совершенство социалистического строя, но только в теории; по его мнению, он не может быть на практике осуществлен, так как «люди остаются людьми». Из этого следует, что пороки, по наследству переходящие из поколения в поколение, что недостатки, прививаемые капиталистическим строем, должны, по мнению прокурора, быть той скалой, о которую разобьются усилия ввести социалистический строй. Но мы и надеемся на то, что эти препятствия будут преодолены под дуновением

социализма. Социалистический строй даст возможность людям сделаться людьми, обеспечит удовлетворение их духовных и материальных потребностей, разбудит благородные чувства и положит предел дурным. И разве тогда общество не сможет придать еще более совершенную форму своей организации? Но не углубляясь в столь отдаленное будущее, я хотел бы сосредоточить ваше внимание на вопросе, могут ли проникнуться более идеальными и благородными стремлениями люди, имеющие такие недостатки, о каких говорил г. прокурор. Я думаю, что да. Их побудит к этому важность дела. Я не удивляюсь, что г. прокурор, вращаясь в тесной среде привилегированных и испорченных людей, сомневается в возможности построить общественное здание из такого кирпича. Но ведь не они будут составлять фундамент здания будущего. Голодные люди, люди в отрешках, объединенные общим гнетом, воспримут социалистическое учение, которое нравственно возвысит их и сделает их достойными основателями будущего строя. При существующей хозяйственной системе, мы ежедневно являемся свидетелями того, что в тех случаях, когда товары не находят сбыта вследствие того, что они произведены в чрезмерном количестве, современные креслы выбрасывают на улицу тысячи рабочих, оставляя их без хлеба и одежды. Такое явление может прекратиться только тогда, когда производство и распределение не будут зависеть от конкурирующих друг с другом эгоистических интересов отдельных лиц, когда руководящую роль в хозяйстве будут исполнять общественные учреждения, ставящие себе целью лишь благо всех. Это основная мысль нашей программы. Мы организовали рабочие массы, подготавливая их к грядущей революции, которую мы считаем неизбежной. Если это преступление, то я спрашиваю, что может произойти, если в момент переворота, рабочие будут лишены сознательности и организации? Тогда взволнованные массы будут руководиться отчаянием, а отчаяние возбуждает дикую жажду мести и вызывает кровавые инстинкты. С обще-человеческой точки зрения мы вполне оправданы. Наше движение прекратится только тогда, когда будут устранены вызывающие его причины. Во всех европейских странах наше движение существует легально, а в случае столкновения его с существующими законами социалистическим деятелям угрожают мелкие наказания. Но здесь—другой взгляд на это дело, и прокурор требует для нас смертной казни. Если вы меня приговорите к смерти, я умру без страха, умру убежденный, что я погибаю за правду и справедливость».

23 декабря 1885 г. т.е. немедленно после объявления приговора по делу «Пролетариата». Мавьковский, по поручению осужденных рабочих и от их имени, обратился к польским рабочим со следующим письмом:

«Братья рабочие! Мы уже давно выбыли из ваших рядов. Нас выхватили из вашей среды, заточили в тюрьмы и долго, весьма долго в них держали.

Шесть месяцев тому назад часть из нас, около 60 человек, без суда сослана в Сибирь или заключена в крепость и тюрьмы. Остальные 29 человек преданы военному суду, по приговору которого (20/XII 1885 г.) шестеро осуждено на смертную казнь, 18 в каторжные работы на 16 лет, двое на 10 лет 8 месяцев, один на 8 л. 10 месяцев и двое на поселение в Сибирь. Все—с лишением всех прав состояния. К этому кровавому сообщению мы должны присовокупить, что приговоренный к смерти Петрусинский и приговоренные к 16 годам каторги: Блюх, Дегурский, Гельшер, Домбровский, Столык и Томашевский совершенно невиновны и что большинство остальных принимало в работе столь незначительное участие, что дело их могло быть решено административным порядком. Но прокуратура их привлекла, а суд осудил по 249 ст. улож.

Мы, братья, понимаем, насколько вы поражены этим.

Не удивляйтесь. Приговор имеет в виду вас, он рассчитан на то чтобы вас запугать, чтобы вы не решились продолжать борьбу.

Ради этого прокуратура искала дыры в целом, но не нашла. Никто из нас не сказал и не сделал ничего такого, что уполномочивало бы прокурора требовать для всех нас смертного приговора. А суд признал основательными доводы обвинения, не считаясь с доказательствами невиновности, не считаясь с степенью участия в революционной деятельности каждого в отдельности из обвиняемых. Но всем была применена одна и та же мера: веревка или 16 лет каторги.

Братья! Мы знаем, что одним из чувств, возбужденных известием о приговорах, должна быть жажда мести. Поэтому-то мы и торопимся, чтобы именно мы первые вам сообщили это горестное известие и одновременно дали вам совет, как вам поступать в дальнейшем и как осуществить эту месть.

Месть принадлежит к тем чувствам, которые должны замереть из-за отсутствия жертв и которые со временем должны быть совершенно искоренены.

Это утверждение, высказанное нами, закованными в кандалы, должно удержать вас от неосмотрительной мести.

Не расточайте зря сил, братья. Преодолевайте все препятствия на вашем пути и смело двигайтесь вперед.

Наше рабочее дело ныне окончательно выяснилось. Приговор суда прямо указывает на то, что нас постигла такая жестокая кара за то, что мы стремились к изменению экономического строя. Из этого ясно, что правительство защищает эксплуататоров, не заботится об искоренении нищеты, наоборот, делает все, чтобы ее сохранить.

Но оно не сохранит ее. Зло должно погибнуть. И поэтому мы спокойно отнеслись к решению правительства, смехом встретили приговор и никто из нас не дрогнул в момент, когда закрылись перед нами двери свободы.

Мы не думаем, братья, вас призывать к усиленной деятельности. Реальные условия, в которых вы живете, являются вполне достаточным побуждением для этого. Вы не можете не бороться, но, ведя борьбу, руководствуйтесь не увлечением, а разумом; так как одно увлечение весьма часто ведет к печальным последствиям. Строгость приговоров может кое-кого отпугнуть от работы. Не делайте попыток удержать их в своей среде. Пусть каждый из вас будет готовым на все, но помните, что каждый имеет право жертвовать только собою... Берегите семейных, чтобы дети не оставались сиротами.

Огромное поле деятельности пред вами... Сейте, а обильный урожай, который в будущем соберет человечество, будет и для вас и для нас щедрой наградой.

Прощайте, братья... Быть может—навсегда.

Не одни, а тысячи из вас так же погибнут, как мы гибнем. Пусть это будет для вас поощрением, пусть будет побудительным моментом для того, чтобы заменить выбывших из строя товарищей.

Работайте изо всех сил, пользуйтесь всякой возможностью. Помните, что когда поймают вас, то не будут смотреть, что вы сделали, и все равно засудят, виновен ли кто или нет.

28 декабря (1885 г.) нам объявят уже подтвержденные приговоры. Мы тогда столкнемся лицом к лицу с нашими палачами. Мы—веселы, они—угрюмы. Мы горды,—горды тем, что выполнили перед обществом свой долг,—они подавлены своей подлостью.

Кто в этом случае победитель?

Не они. Торжествуют жертвы, торжествует правда.

Обнимаем вас сердечно и желаем успеха»...

Я привел и речь Маньковского, и его письмо почти полностью, как документы, весьма для него характерные... Романтик, не без сентиментальности, он предостерегает от увлечения мстью...

Какой же злой проницей звучат в настоящее время эти слова!

Жизнь зло посмеялась над Маньковским. Понав на Кару, Маньковский, как и многие другие юноши, набросился на книги и буквально поглощал их. Весьма способный, он во всех областях приобрел довольно много знания, но эти знания он воспринимал весьма своеобразно. Он, например, не мог не думать о том, что каждое его движение, каждый его шаг, даже вздох лишает жизни миллионы хотя и простым глазом невидимых, но все же живых существ. В тюремных условиях он мог легко стать на этой почве маньяком, но привычка к работе увлекла его в сторону физического труда. Он увлекся горшечничеством, сделал станок и выделывал чашки, миски, горшки... Было время, когда он по целым часам мастерил... деревянные часы, которых ему так и не удалось сделать. Но вскоре, когда начались протесты, вся его жизнь перевернулась. Особенно тяжело он переживал период самоотравления на Каре. Он решил, что слишком много жертв: занесся ядом и заявил: «не отравлюсь, если выдержу».

Он выдержал. Не отравился ни морфием, ни опиумом, но от яда горшего чем все опиаты, от яда мести не спасся... Мсть, мсть, мсть врагу, с богом, а то и помимо бога»—повторял он слова Мпцкевича. Перевод в Акатуи, довершил дело...

Я вновь встретился с Маньковским только в 1905 г. Он был неузнаваем. От прежнего марксистского уклона в нем не осталось и следа. Он в России примкнул к социалистам-революционерам-максималистам, а в Польше душой и телом слился с правой П.П.С. Он не был националистом, но он не был и социалистом... Правая П. П. С. презьняла его лишь тем, что давала ему возможность осуществить свою мсть. Во время, «кровавой среды» в Варшаве, организованной правой П.П.С. с целью терроризовать полицию, когда в один день от рук боевиков пало на улицах Варшавы несколько десятков полицейских,—Маньковский руководил этим массовым убийством, и многих полицейских убил собственноручно. С течением времени, когда уже после раскола в П.П.С. правая, принявшая название «фракции революционной» («фракпи»), забросила террористическую деятельность и принялась за военно-повстанческую.

Маньковский организовал оппозицию и вместе с другими в 1914 г. отказался от этой фракции. Когда вспыхнула война, многие оппозиционеры, с Феликсом Перлем во главе, приехали повинную Пилсудскому и вернулись в организацию. Маньковский не последовал их примеру... Национализм П.П.С. ему претил. Я видел его в последний раз в Кракове в конце августа 1914 года, когда волна шовинизма захлестнула многих. Маньковский не поддавался общему настроению. Он устранился от политики и все время посвящал, с упорством маниака, усовершенствованию аэропланов, не имея для этого ни достаточно знаний, ни опыта. Продолжал ли он эту работу и после или перебрался в другую область открытий и изобретений, к чему у него всегда была склонность, не знаю, но к политической деятельности он уже не вернулся. Умер он в 1922 г. в Кракове. Его смерть была с рекламными целями для своей партии использована П. П. С.

VI. Конец дознания.

Жандармское дознание тянулось бесконечно долго. Каждый новый арест затягивал дело, при чем при каждом новом аресте жандармы были убеждены, что это уже последний, что «крамола» с корнем вырвана, а несколько дней спустя новый арест убеждал их в противном. Первые аресты были произведены в половине 1883 г., последний в конце 1884 года. Жандармы совсем было уже успокоились, но в 1885 г. последовала новая волна арестов, при чем в числе арестованных были такие крупные деятели, как Мария Богусевич, Розалия Фельзенгардт, Константин Стржеминский, Разумейчик и др. Волей неволей пришлось кончить «одно дело» и начать другое, иначе дознание могло затянуться до бесконечности. Жандармы, скрепя сердце, должны были принять такое решение и приступили к завершению следствия.

В этот период дознание носило другой характер. Порядки в Хлавильоне изменились до неузнаваемости. Перестукивание и перекрикивание из камеры в камеру было уже легализовано, переписка друг с другом происходила беспрепятственно, малейшая попытка со стороны жандармов изменить этот режим вызывала протесты: голодовку, вышибание стекол в окнах и в глазке и т. п. Весьма часто дело доходило до курьезов. Помню случай, когда в одной из соседних камер кто-то жарил изо всех сил каблуками в дверь. На мой вопрос, что случилось, последовал ответ:

— У меня нет табаку. Два раза звал заведующего, а он не приходит, хотя уже прошло полчаса.

Заведующий мог уехать в город и этим могла быть вызвана задержка в его приходе. Учитывая это, я предложил стучавшему, что я ему сейчас пришлю табак.

На это он мне простучал:

— Дело не в табаке, а в принципе...

Его стук мог вызвать, по доверию к стучавшему, коллективный протест, который мог поставить в смешное положение нас всех и поэтому я ему ответил:

— К сожалению, принципа я вам прислать не могу.

Это его образумило. Стук прекратился.

За все это время и тов. прокурора Инкулино, и жандармский подполковник Беладовский, в виду господствовавшей тогда вольницы, уже избегали заходить к нам и выпускали, быть может, просто для управления, мелких сошек, вроде жандармского поручика Фурсы, заведующего X навильоном.

Но закону, Фурса, именно как смотритель тюрьмы, не имел права принимать участия в дознании, но для жандармов закон не писан, и Фурса подвизался во-всю. Узнав, что одна из заключенных, Софья Плоская, урожденная Онуфрович, заболела, лежит в бессознательном состоянии и в жару бредит, он вошел в ее комнату, представился товарищем ее мужа «технологом Броциславом», вступил в беседу с ней и записывал ее ответы. Когда Плоская поправлялась, он ее вызвал на допрос и добивался разъяснения, кто такой Дюма и Агасфер, имена которых она упоминала в бреду...

Подвергся и я допросу умного Фурсы. Он все добивался, что бы я сделал, если бы меня выпустили на свободу. В то время такой вопрос был вполне равнозначущ вопросом, что бы я сделал, если бы попал в рай. Шапсы на то и на другое были одинаковы. Я ответил, к великому удовольствию тщательно записывавшего мои ответы Фурсы, что вновь принялся бы за работу. «А что бы вы сделали, если бы партии уже не было?»—последовал вопрос. «Создал бы новую». Фурса был в восторге. А когда впоследствии военный прокурор привел этот отрывок моих показаний в обвинительном акте, Фурса возмнил о себе, что он блестящийследователь.

Таких курьезов было много. Всех—не перечесть.

В конце концов изобретательность и умных и тупоумных жандармов иссякла и следствие кончилось. Из арестованных 7 человек отправлено административно в В. Сибирь на пять лет — 8, на такой же срок в З. Сибирь: 9 — на четыре года в З. Сибирь: 1 — как иностранный подданный, выслан за пределы России: 2 осуждено на 1 г. 4 м. крепости; 2—на 1 г. 4 м. тюрьмы; 3—на 1 г. крепости, 6—на 1 г. тюрьмы; 2—на 10 м. крепости; 5—на 10 мес. тюрьмы; 5—на 9 мес. тюрьмы; 2—на 8 мес. тюрьмы; 1—на 7 мес. тюрьмы; 1—на полгода крепости; 2—на 6 мес. тюрьмы; 9—на 5 мес. тюрьмы; 5—на 4 мес. тюрьмы; 1—на 3 мес. крепости; 9—на 3 мес. тюрьмы; 3—на 2 мес. тюрьмы; 6 человек отдано под надзор полиции; 12 чел. приговорено к аресту от 15 дней до 3-х месяцев; 19-ти засчитано предварительное заключение и они освобождены из под стражи: 1-й (пре-

дательнице) сделан строгий выговор. Относительно 2-х дело прекращено за смертью, относительно 23-х за отсутствием состава преступления. Относительно 16-ти дело приостановлено «впредь до розыскания» и, наконец, 29 переданы военному суду.

На основании этих данных нельзя себе составить представления о числе привлеченных по делу «Пролетариата». О перечисленных 190 привлеченных дело решалось в Петербурге. Но кроме этих 190 человек было несколько сот человек, которые были освобождены из тюрьмы собственной властью местных жандармов.

Все решение дела относительно «административных» и отправленных в Сибирь и по тюрьмам предвещало скорую расправу и с 29-ю «обреченными». И действительно: в августе 1885 г. нам объявили о передаче нас суду, а в ноябре нам был вручен обвинительный акт.

О Г Л А В Л Е Н И Е:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

стр.

Партия „Пролетариат“ и ее время.

3

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Арест и следствие:

I. Арест и первые дни в тюрьме	61
II. В варшавской цитадели	74
III. Предатели	93
IV. Инквизиторы	97

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Пролетариатцы:

I. Людовик Варынский	101
II. Станислав Кувинский	126
III. Людовик Янович	134
IV. Фаддей Рехневский	135
V. Мечислав Маньковский	137
VI. Конец дознания	144